

Б И Б Л И О Т Е К А

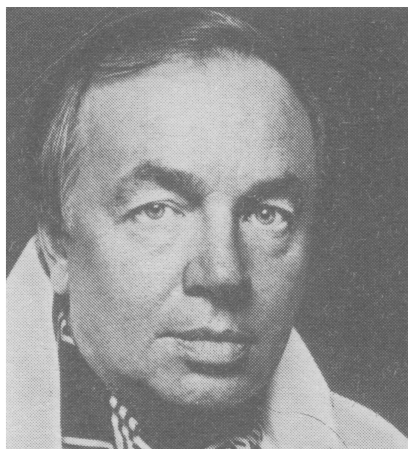
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 46

1987



Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

М О С К В А
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»

10, 9, 8, 7...

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 46

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

10, 9, 8, 7...

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1987

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Поэт Андрей Вознесенский родился в Москве в 1933 г. Окончил Московский Архитектурный институт. Много занимался живописью. Автор книг стихов и прозы: «Мозаика», «Треугольная груша», «Антимиры», «Прорабы духа» и др. В 1984 г. вышло 3-томное собрание сочинений поэта. Лауреат Государственной премии СССР. Почетный член Нью-Йоркской академии литературы и искусства, Французской академии поэтов им. Маларме, Баварской академии искусств. Член Совета учредителей Советского фонда культуры. Соавтор художника З. Церетели по созданию в Москве на Б. Грузинской улице монумента в честь русско-грузинской дружбы. Произведения А. Вознесенского переведены на многие языки мира.

ПЕРЕД СТЫКОВОЙ ВЕКОВ

Из выступления на Московском форуме

В час перед стыковкой позвонков двух тысячелетий, а может быть, в роковой час перед гибелью цивилизации и культуры, когда ни тысячелетий, ни человека вообще не будет, пока мы с вами живы еще, я обращаюсь к вам, братьям по Культуре, не с проповедью, а с исповедью. Не «отечество в опасности» ныне, а «человек в опасности», человек, венец творенья.

Пчелы культуры ныне — дозиметры совести и человечности в мире, Озонные дыры в стратосфере на миллион кв. м, облако Чернобыля и кислотные дожди Рейна стирают условные географические границы государств. Понижение уровня свободы, человечности, культуры в любой точке земли, как и при случае радиации, вызывает понижение уровня в любой другой точке света. И наоборот.

В давнюю золотую осень, «индейское лето», я гостил на даче у Артура Миллера и Инги Морах. Вы помните эти дни, Инга? В тот день какой-то выродок, маньяк вложил бритвенные лезвия в яблоки, даримые детям на детском карнавальном празднике Хэллуин. Я написал стихи об этом. Их напечатала тогда «Нью-Йорк таймс». Миллер обнял меня. Это были стихи не только об этом американском случае, но и о бесчеловечности.

Этой осенью они были в Переделкине. Они узнали в тот приезд о злодействе, совершенном в Крыму, когда горстка нелюдей разрыла захоронение 12 тысяч расстрелянных жертв гитлеровского геноцида, чтобы, разбив черепа, добывать золотые коронки. Это были такие же нелюди, как и те американские, что клали бритвы в яблоки детям. Сейчас в Крыму после поэмы поставили памятник жертвам геноцида. Ранее это было бы невозможно.

Добавлю еще, Вы видите вокруг себя гостеприимные улыбки, красивые памятники зодчества, но не думайте, что у нас тишь да гладь. Я хочу, чтобы вы поняли сегодняшнее драматическое содержание нашей жизни, трудный новый революционный процесс в ней. Идет духовная революция у нас, борьба не на жизнь, а на смерть, борьба нового мышления с очень еще сильным реакционным инертным слоем. Это не

«культурная революция», а революция Культурой (by Cu). Не хочу сказать, что все уже в порядке, но процесс сдвинулся, он идет в правильном направлении. Это трудный, тяжелый путь, но мы с этого пути не свернем.

Это не только наш печатный Ренессанс, когда мы впервые печатаем Набокова, Ходасевича, Гумилева, а также книги сегодняшних писателей, такие, как роман Рыбакова, протомившиеся в столах, и резкая прямая критика по телевидению бюрократизма, и обращение к забытой философии внутреннего мира человека. Попробуйте купить новые журналы сейчас, их нет, народ раскупает эти серьезные публикации, голосуя этим за революцию Культурой. Это борьба за демократизацию всех сфер жизни — выборов, правового, экономического процесса и т. д. Цель — не догматические, набившие оскомину формулы, а человек, личность, общечеловеческие ценности. Многие из вас видели фильм «Покаяние». Это не только повесть о преступлениях известной эпохи, это фильм о психологии деспотизма и бесчеловечности вообще, этим он близок вам.

Сейчас на Западе есть мощное искусство Г. Гарсиа Маркеса, М. Фриша, Г. Грина, Вуди Аллена, А. Гинсберга, А. Моравиа, М. Формана, Г. Видала, У. Стайрона, А. Лунквиста — оно будит мысль, это вершины духа.

Все это делает не Бог, не кто-то за нас, а каждый, мы сами. Тот же актер М. Ульянов, режиссер Э. Климов, каждый из нас. Я отказался в эти месяцы от многих интересных зарубежных творческих приглашений — в Италию, Швейцарию, Грецию, Индию и т. д. Дома дел много сейчас, многому можно помочь.

Процесс демократизации идет, много уже результативного, многое еще не сделано, но процесс, надеюсь, необратим.

Что может помешать нам? Не только тормозящее чудовище бюрократизма, тупость инерции старого мышления. Надеюсь, наш народ их одолеет. Гонка ядерных вооружений, абсурдный плод отсталого реакционного мышления может свести все к нулю, уничтожить не только наше Возрождение, но и культуру, но и человека, как вид вообще.

Когда-то Бунин был потрясен метафорой, прочитанной им в книге «На весах Иова» о новом мышлении. Ангел Смерти, являющийся за душой человека, имеет, по легенде, тело, состоящее из множества глаз. Это глаза живших ранее людей. Иногда ангел, поняв, что он ошибся и что смерть отсрочена, удаляется от человека, и тогда оставляет человеку пару новых глаз — новый взгляд, новое мышление. Так, например, родился Достоевский.

Ныне на роковом переломе в нас вселяются глаза миллионов погибающих и миллиарды тех, которые могут погибнуть в рукотворном Апокалипсисе.

Этой ночью я написал стихотворение, часть которого читаю вам. Меня поразила символика (как у Хлебникова) цифр нынешнего 1987 го-

да, которые расположены в убывающей прогрессии, как отсчитывают секунды перед космическим стартом. Или это убывание культуры? Человечности? Куда им взлетим?

1987

...Что за смысл лети над всем,
убывающий счет цифр?
Десять, девять, восемь, семь...
Старт? Взрыв?

Вспять летящий Вифлеем?
Убывание чувств живых?
Десять, девять, восемь, семь...
Старт? Взрыв?

Десять, девять, восемь, семь... —
антисчетчик, побежал, —
Форман, Пушкин, Будда, Зен,
скоро ль время обезьян?

Строит храмы Геристрат,
Ницше говорит: «Бог жив!»
В ком из нас таится старт?
В ком из нас таится взрыв?

Телевизор. Седуксен,
В мире писем нет совсем,
Только «Гете-Эккерман»
и «Астафьев-Эйдельман».

И несется страшным зевом,
слово «если», слово «if»
Тен, найн, эйт, севен...
Десять, девять, старт, взрыв?

Жаль не только нас, тетерь,
в шорах видеосистем,
жалко маленьких, детей,
кому десять, восемь, семь.

Запрещенных издаем.
От «Живаго» в сердце щемь.
Сколько их еще, имен?
Десять... Девять... Восемь... Семь...

Медленно в буран борьбы
близится свободы сень,
как дорожные столбы —
«10», «9», «8», «7»...

Для чего же Кити, Левин,
Маркс, Христос и Будда-Зен?
Тен, найн, зйт, севен...
Десять, девять, восемь... семь...

ПЕРВЫЙ ГОД КОМИССИИ

«Шли и пели «Вечную память». И когда останавливались, то казалось, что продолжают петь как по-залаженному, — ноги, лошади, дуновение ветра...»

Скоро три десятилетия, как в годовщину его смерти к могиле идут людские вереницы, бесконечно продолжая эту зачинную фразу «Доктора Живаго».

«Прохожие пропускали шествие. Считали венки...»

Нынче впервые к сосне прислонился венок с красной лентой под заплаканной позолотой: «Б.Л. Пастернаку от Союза писателей». Этот венок — современный фильма «Покаяние». Двадцать семь лет минуло со дня гибели поэта, это возраст Лермонтова, которому он посвятил книгу. Это был венок не от того Союза писателей, который травил поэта и исключил, а от того Союза писателей — одним из романтических учредителей которого был Пастернак. На I Всероссийском съезде писателей поэт говорил: «Не жертвуйте лицом ради положения... слишком велика опасность стать литературным сановником».

Ливень барабанил по зонтам. Сотни съехавшихся мокли, вжимались между кольями могильных оград. Кто-то держал зонт над выступающими. Я зажег свечу у подножия памятника. Более часа читались стихи, и, несмотря на дождь и ветер, горела, мигая в зеленом подсвечнике, крохотная героическая свеча. Поблескивали объективы телекамер.

Глядя сквозь прорезь листьев, сквозь туман рокового поля, вижу дачу, которая все не становится его музеем, вижу сквозь двадцатисемилетнюю дистанцию толпу его опальных похорон. Поблескивали камеры. Именитые писатели сквозь щели заборов и шторы, прячась, глядели на народную толпу. Была эпоха антигласности. Он был ее жертвой.

От юношеских занятий музыкой, от обожания Скрябина, от фортепьянной техники родилась его техника стиха. Каждая строка, каждое слово работает, как нота, как клавиша, у него нет неработающих пустых строк, — каждая напряжена.

У капель тяжестъ за́понок.

Вы слышите, как пальцем ударяется каждая клавиша?

И одновременно звенит зрительный образ, серебряное сверкание капель. Устраивая в Пушкинском музее выставку к столетию поэта — «Век Пастернака» (наподобие выставки «Мир Элюара» в Центре Помпиду), мы думаем выставить бытовые предметы, воспетые поэтом, — он был бог деталей.

За этой звуковой музыкой просвечивает другая, духовная, трансцендентальная, которую поэты чувствовали сквозь стихию христианства.

Итак, вы в семейном кругу Пастернака, читатель, в его доме, будто приглашены на чтение.

Так в доме его я прослушал в юности весь роман его «Доктор Живаго» и стихи из его уст. Окончив часть романа, он читал ее своим друзьям — Нейгаузу, Рихтеру, Асмусу, московскому Олимпу тех лет.

Застекленная терраса кабинета, где шли чтения романа, расположенная на втором этаже, имела овальные стены, как кабина авиалайнера. Стены были наполовину из дерева, наполовину из неба. Так и роман его — полупроза, полустихи. (Он повторял строение дома — деревянный остов и терраса стихов.)

Поэзия — содержание романа.

Помню, он удивленно шутил, слыша политические обвинения: «А что «Анна Каренина» или «Воскресение» — антисоветский роман?»

Откроем наугад страницу этой прозы. За каждой строкой — стихи. Вот Лара с матерью идут с узлами по московскому бульвару 1905 года. Стреляют.

...«Они вышли на улицу и не узнавали воздуха, как после долгой болезни...» Сразу аукаются стихи из давних книг:

«А воздух синь, как узелок с бѣлѣм
У выписанного из больницы...»
«И вдруг пахнуло выпиской
Из тысячи больниц!»

«...Морозное, как под орех разделенное пространство, легко перекачивалось во все стороны, круглые, как на токарне выточенные, гладкие звуки. Чмокали, шмякали и шлепались залпы и выстрелы...»

Даже не буду цитировать строки о гулком орехе, вы их помните, читатель, только скажу что гром — Как допетровское ядро «Он лугом пустится вприпрыжку» и т. д. и т. п.

«На одном из перекрестков их остановил сторожевой патруль. Их обыскивали, нагло оглаживая с ног до головы, ухмыляющиеся солдаты.»

Весь этот жанровый эпизод со свежестью и крепостью образов уже звенел в поэме «905 год».

Понесло дураков,
Это надо же выдумать —
в баню!

Эти картины московских улиц, зимнего казачьего разгона демонстрации — самые сильные и в фильме «Доктор Живаго». После этого фильма вошли в мировую моду дубленки, которые сначала называли «стиль Живаго». Ныне Н. Михалков хочет отснять фильм по роману.

А язык? Как и стихи, это непереводаемо. Где, в каком Марбурге, у какого Канта и Когена мог он набраться такого лексикона? Это не выписанные из Даля архаизмы, а настоящая народная речь с натуры, как у Островского.

«Где-то закричала старуха:

— Куда, кавалер? А деньги? Когда ты мне дал их, бесовский? Ах, ты, кишка ненасытная, ему кричат, а он идет, не оглядывается. Стой, говорю, стой, господин товарищ! Караул! Разбой! Ограбили! Вон он, вон, держи его!

— Это какой же?

— Вон голомордый идет, смеется.

— Это который драный локоть?

— Ну да, ну да. Держи его, басурмана!

— Это который на рукаве заплатка?

— Ну да, ну да. Ай, батюшки, ограбили!

— Что тут поприпитчилось?

— Торговал у бабки пироги да молоко, набил брюхо и фьют. Вот плачет, убивается.

— Нельзя этого так оставить. Поймать надо.

— Пойди поймай. Весь в ремнях и патронах. Он тебе поймает.»

И за всем этим просвечивает иное. В философствующем родственнике, приехавшем из-за границы, просвечивает Андрей Белый, за Христиной Орловцевой — Зоя Космодемьянская.

Но главное — просвечивает музыка иная — музыка совести. Тут надо бы цитировать весь роман. Мир испытывает дефицит совести ныне. Это общечеловеческая проблема. Даже в лучших сынах человечества. Энрико Ферми сказал после испытания первой атомной бомбы в Аламгордо: «Не надоедайте мне с вашими терзаниями совести! В конце концов — это превосходная физика...»

За мастерскими бытовыми сценами, любовной линией романа, образностью, судьбой интеллигенции, лагерными кадрами, философскими диспутами, гибелью героев просвечивает эта музыка совести, и пророческое предощущение, осветившее последнюю страницу романа, самого заветного для него его произведения:

«Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе с победой, как думали, но все равно, предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание.»

Может быть, эти строки обращены к сегодняшним процессам?

Как случилось, что многие мастера слова, в том числе и достойные, в те давние годы, словно в наваждении, включились в неправедную

кампанию против поэта и плели небылицы?! Словно под тягостным гипнозом обвиняли соседа своего в несуществующих преступлениях? Механизм этого явления важно понять, уроки истории не проходят даром, истина ждет своего торжества — биографии и судьбы важно воссоздать в их подлинном значении для потомства.

Кто-то казнилса потом всю жизнь. Кто-то сломался. Кто-то спрыгнул с ума. После первого заседания Комиссии по наследию Пастернака, когда мы приняли решение отменить позорное исключение великого поэта из СП, подошел ко мне В. Солоухин: «Что ж ты меня позвал выступать? Душа просит покаяния».

Все это и многое еще виделось мне сквозь этот двадцатисемилетний туман с холма его могилы 30 мая 1987 года. Виделось счастье духовной высоты общения с ним и чудовищный шок от исключения его из СП и последующей травли — все это повлияло на меня, как на человека и поэта.

Но об этом после. В 16 часов начинаются первые Пастернаковские чтения в зале Литинститута. На то же число, 30 июня, был назначен мой поэтический вечер на фестивале в Роттердаме. Я, конечно, не полетел. Думаю, европейские поэты поймут. Важнее было провести Пастернаковские чтения. 60 докладов прозвучало — среди них речи С. Аверинцева, В. Каверина, Д. Самойлова, Л. К. Чуковской с белой стрижкой и прямой спиной, М. Чудаковой. С лестницы подали записку: «Мы приехали из больницы, но не можем пробыться. С. Липкин, И. Лисянская». Напрасно я кричал: «Пустите их, расступитесь!» Куда там! Зал был спрессован. Стояли на окнах. Кому-то было плохо... «Дух поэта сегодня может быть спокоен», — сказала кипрская поэтесса.

Жаль, что из-за тяжелого приступа не смогла быть Ольга Всеволодovна Ивинская, муза поэта, чей белокурый свет волнует нас в его Гретен, Ларе и последней тетрадке его стихов.

Учреждение ежегодных международных Пастернаковских чтений — один из пунктов, принятых Комиссией по литературному наследию Б. Л. Пастернака.

Первое ее заседание состоялось 12 февраля 1987 года в ампирином конференц-зале, где 30 лет назад был исключен из Союза писателей великий художник. Горячо и выстраданно говорили Р. Рождественский, Е. Евтушенко, В. Коротич, К. Ваншенкин, И. Абашидзе, А. Кушнер, В. Каверин, Е. Сидоров, Ал. Михайлов, Е. Б. Пастернак, В. Иванов, Л. Озеров, Ст. Лесневский, И. Антонова, В. Амлинский, А. Урбан, Д. Данин, В. Новиков. Юношеский портрет поэта работы его отца был увит алыми грузинскими розами. Первым пунктом решения было: призвать Секретариат СП СССР отменить постановление 1958 г. об исключении поэта. Занедуживший В. Быков передал мне по телефону, что он двумя руками голосует за отмену исключения поэта, за публикацию «Доктора Живаго», за создание музея в Переделкине. Те же мысли выразил Д. С. Лихачев: «Прошу учесть мое настойчивое пожелание как Председателя

правления Советского фонда культуры...». С. Залыгин прислал письмо, в котором сообщил, что «Новый мир» планирует печатать «Доктора Живаго» с января 1988 года. Д. Гранин предложил, чтобы одновременно с журнальной публикацией, не дожидаясь собрания сочинений, появилось отдельное издание романа.

Думаю, что история с романом «Доктор Живаго», послужившая поводом для исключения, являет собой пример эпохи забвения гласности, когда люди должны были клеймить произведение, даже не прочитав его. Нам трудно поверить, что большинство опубликованных откликов сводилось к мнению: «Я роман Пастернака не читал, но считаю...»

Это поэтический роман, психологическая автобиография, в нем трагедия нашей интеллигенции. Страницы пронзает тончайшая музыка чувства. В одном из писем 1949 года Пастернак писал: «Этот герой должен будет представлять нечто среднее между мной, Блоком, Есениным и Маяковским, и, когда я теперь пишу стихи, я их пишу в тетрадь, этому человеку, Юрию Живаго».

Под сюртуком Николая Николаевича из романа скрываются концепции Скрябина и Блока. Все, что принадлежит перу Пастернака, должно быть опубликовано. Особенно дорога его переписка, она составляет тома. Его письма к О. Фрейденберг драгоценны. В письмах поэт предстает мыслителем на уровне ведущих русских философов. Именно ныне нам необходимо общечеловеческое осмысление мира.

В нашей борьбе за духовное обновление, поиске корней застоя не забудем слов поэта: «Главной бедой, корнем будущего зла была утрата веры в цену собственного мнения. Стало расти владычество фразы».

Дни общения с Б. Л. Пастернаком я описал в своих воспоминаниях «Мне четырнадцать лет», публикация которых в хмурые времена была остановлена, и редакции «Нового мира» с трудом удалось отстоять их. Нам еще предстоит написать коллективный портрет Пастернака — задуман сборник воспоминаний о нем.

Еще в феврале 1936 г., выступая на Пленуме в Минске, Пастернак говорил: «Скажем правду, товарищи, во многом мы виноваты сами. Ведь не все на свете создается дедуктивно, откуда-то сверху... Мы все время накладываем на себя какие-то добавочные пути, никем не затребованные...» Хрущев, конечно, не читал «Доктора Живаго». Его науськивали интриганы, среди которых печальную роль сыграли и поэты-завистники. У каждого большого поэта есть свой пожизненный гнусный спутник.

Обо всем этом шла речь на заседании Комиссии. Я нарочно протоколно скупо описываю это, чтобы дать понять нерв сегодняшней результативной гласности.

19 февраля 1987 г. Секретариат СП СССР отменил постановление об исключении Пастернака из СП СССР. Это шаг беспрецедентный.

В решении Комиссии по литературному наследию Б. Л. Пастернака четырнадцать пунктов. Первый принят Секретариатом правления СП СССР. Среди других отмечу: обратиться в Секретариат правления СП

СССР с просьбой об издании «Доктора Живаго», о выпуске полного собрания сочинений, создании дома-музея поэта в Переделкине; проведение Пастернаковских чтений с участием деятелей как отечественной, так и мировой культуры (первые чтения провели 30 мая 1987 года), организации «Мир Пастернака», подготовка к юбилею в 1990 году с предложением в ЮНЕСКО объявить год столетия поэта годом Пастернака, факсимильное издание книги «Сестра моя — жизнь», мемориальное увековечение — присвоение имени Пастернака улице, скверу... Дел много. И решение секретариата об отмене постановления 1958 года — пример того, что ныне невозможное возможно. Говоря о Пастернаке, выступавшие требовали отменить постановление об А. Ахматовой и М. Зощенко. Пусть трагическая судьба великого поэта удержит от повторения подобного в будущем.

Первый год работает Комиссия. Много сделано. Утверждено Собрание сочинений. За многое корим себя — никак не удается пробить нам стену сопротивления созданию музея поэта в Переделкине. Подвижнически работает ответственный секретарь Комиссии Е. Б. Пастернак.

«... в какой-то стороне нашего литературного застоя повинны мы сами, как члены корпорации, как атомы общественной ткани...», — писал наш гений, — легче и разумнее строить, начиная с себя».

Открывая чтения, я прочитал стихи, написанные после его похорон. В тягостной атмосфере антипастернаковских гонений похоронного лета мне все же удалось напечатать их в газете «Литература и жизнь» под названием «Кроны и корни» с подзаголовком «Памяти Толстого». Натяжка была невелика — путь и дух Толстого были ему близки.

Несли не хоронить —
несли короновать.

«Шли и пели «вечную память», и когда останавливались...»

ГАЛА ШАГАЛА

С возвращением под родное небо, Марк Шагал, голубой патриарх мировой живописи! Наконец, мы дождались его настоящего воскрешения. Собственно, Шагал никогда с родиной и не расставался. В Париже, Нью-Йорке, Поль де Вансе она неотвязно цвела на его магических холстах. Эйфелева башня у него стояла на курьих ножках, подобно видению его родной земли.

Париж он называл свои вторым Витебском.

Помню первое краткое возвращение мастера в 1973 году в Москву. Тогда он прибыл по приглашению Министерства культуры. Номер в его отеле был завален корзинами цветов и торжественными подарками. Но гениальный голубоглазый старик, с белоснежной гривой, как морозные

узоры на окне, разрыдался над простым букетиком васильков — это был цвет его витебского детства, нищий и магический цветок, чей отсвет он рассыпал по витражам всего мира от Токио до Метрополитен.

Когда год назад я читал стихи «Васильки Шагала» в пурпурно-красном нью-йоркском зале «Карнеги-Холл», мне передали после выступления письмо, написанное мелким почерком. Под ним стояла подпись: «Белла Шагал».

На следующий день, по-студенчески просто одетая, она рассказывала мне о последних минутах деда. Он умер в своем доме, среди зелени Поль де Ванса. Марк Захарович находился в кресле-каталке и опочил, когда его подымали в лифте на второй этаж. Умер со слабой улыбкой на тонких губах — умер, взвиваясь в небо, летя.

На его картинках парят горизонтальные скрипачи, ремесленники, влюбленные. Он к ним присоединился.

Небо, полет — главное состояние кисти Шагала. Вряд ли кто из художников так в буквальном смысле был поэтом, как этот сын витебского селедочника. Безумные василькового цвета избы, красные петухи, зеленые свиньи, беременные коровы, загадочные саркастические козы — все увидено взглядом поэта. Не случайно любил его Аполлинер. В доме у Арагона я видел его автографы на титульных листах монографий с виньетками и фломастерскими рисунками, обрамленные и повешенные на стену.

В преддверии нынешнего слияния неба с землей, в преддверии космической эры Шагал ввел небо в быт, а быт городишек пустил по небесам. Белка и Стрелка с задранными хвостами, пересекающие небосклон, могли бы быть персонажами Шагала.

Я познакомился с Марком Захаровичем Шагалом в феврале 1962 года, о чем напоминает дата под первым его подаренным рисунком. Голубая дева в обнимку с ягненком летит над Эйфелевой башней. После этого мы много встречались, если учитывать дистанцию между Москвой и Парижем, и в его квартирке над Сеной, и в доме его дочери Иды, которая была ангелом его вернисажей, а позднее на юге, где его муза и супруга Вава — Валентина Григорьевна — вносила олимпийскую гармонию в суетный быт двадцатого века.

В каждый приезд во Францию я посещал мастера. Он часто вспоминал Маяковского, припоминал надпись поэта ему на книге, где Шагал, конечно, рифмовалось с глаголом «шагал». Странно было знать, что этот тихий, застенчивейший, деликатный человек с белыми кисточками бровей, таращащий в шутовском ужасе глаза, если кто-либо говорил о его славе, был когда-то решительным комиссаром революционного искусства в Витебске.

В недавнем интервью московскому радио голос Вавы вспоминает: «Андрей часто бывал у нас, Марк любил часами беседовать с ним». Как жаль, что я не вел записей этих бесед! Есть художники — молчуны, — он же и в речах был поэтом.

Синяя бабочка, махаон Шагала, как ты летела, выбиваясь из сил, через Карпаты, Пиренеи, через мировую тоску и океаны!

Шагал весь светился, казался нематериальным и будто все извинялся за свою небесность. Был он бескорыстен.

Однажды он пригласил меня поехать с ним в Цюрих, на открытие его синих витражей в соборе. Опять он делал их бесплатно, как дар городу, как дар синего неба из окна. Он и в этом был поэтом.

Он иллюстрировал гоголевскую поэму «Мертвые души» — какая поэтическая, летящая за окном Россия в этих гравюрах! Поэзию он видел в уродливой для обывателя жизни, поэтизируя быт, открывая новую красоту; предметы, оттертые от пыли его взглядом, сверкали, как черные бриллианты.

До конца своих дней он работал каждое утро. Огромные холсты, записываемые его легкими тонами, являли собой жизнь и, может быть, продляли этим его летучий срок на земле. По-детски он счастливо сиял, демонстрируя вам ордена, бриллиантовые звезды и муаровые ленты, дарованные ему королями и президентами.

Он был мужественным, этот тихий удивленный человек. Однажды мне довелось стать свидетелем тому. Лето 1973 я был с выступлениями в Париже. Шагаловский рисунок к моему «Зову озера» издательство «Галлимар» поместило на обложку моей книги. В это время Шагал, приняв приглашение Министерства культуры, собирался приехать к нам. Повторяю, это был первый его визит после отъезда в двадцатые годы и, увы, как оказалось теперь, единственный. Он расспрашивал — какая она нынче, Москва? Есть ли на улицах автомобили? Он помнил Москву разрухи двадцатых годов. Полет был назначен на понедельник. Тогда был рейс Аэрофлота.

Увы, в субботу стряслось страшное. На глазах тысяч парижан во время демонстрации на Парижской авиавыставке красавец «ТУ» потерпел в небе аварию и разбился. Погибли наши испытатели. Накануне я разговаривал с ними. Заснятый момент катастрофы показывали по несколько раз на телеэкране в замедленном дубле. Мы с ужасом вновь и вновь проглядывали эти кадры.

Шагала отговаривали лететь на «ТУ». Советовали или отменить полет, или лететь на «Эр Франс». Шагал полетел в понедельник.

Я прилетел в Москву несколько дней спустя после приезда Шагала. Он поехал с Вовой и Надей Леже.

Приехав к нам на дачу в Переделкино, Шагал остановился на середине дорожки, протер руки и остолбенел. «Это самый красивый пейзаж, какой я видел в мире!» — воскликнул он. Что за пейзаж узрел мэтр? Это был старый покосившийся забор, бурелом, ель и заглохшая крапива. Но сколько поэтичности, души было в этом клочке пейзажа, сколько тревоги и тайны! Он открыл ее нам. Он был поэтом. Может, он вспомнил витебские овраги? Повторяю, даже Париж он называл вторым Витебском. Не случайно он любил Врубеля и Левитана.

Давно написал я эти строки:

Если сердце не солгало,
то в каком-нибудь году
в Витебске в Музей Шагала
обязательно зайду.

Знакомые мои лишь скептически усмехались, считая это черным юмором. Но о музеях надо не вздыхать, а делать хоть что-то для создания их. Все жители Витебска, которых я встречал, ратуют за увековечивание памяти их великого земляка. Правда, некоторые ратуют осторожно: «Создадим, если сверху примут решение...»

15 февраля 1944 года Шагал опубликовал в нью-йоркской газете свое письмо-плач «Моему городу Витебску».

«Давно, мой любимый город, я тебя не видел, не упирался в твои заборы. Мой милый, ты не сказал мне с болью: почему я, любя, ушел от тебя на долгие годы? Парень, думал ты, ищет где-то он яркие особые краски, что сыплются, как звезды или снег, на наши крыши. Где он возьмет их? Почему он не может найти их рядом? Я оставил на твоей земле, моя родина, могилы предков и рассыпанные камни. Я не жил с тобой, но не было ни одной моей картины, которая бы не отражала твою радость и печаль. Все эти годы меня тревожило одно: понимаешь ли ты меня, мой город, понимают ли меня твои граждане? Когда я услышал, что беда стоит у твоих врат, я представил себе такую страшную картину: враг лезет в мой дом на Покровской улице и по моим окнам бьет железом.

Мы, люди, не можем тихо и спокойно ждать, пока станет испепеленной планета. Врагу мало было города на моих картинах, которые он искромсал, как мог,— он пришел жечь мой город и дом. Его «доктора философии», которые обо мне писали «глубокие» слова, теперь пришли к тебе, мой город, сбросить моих братьев с высокого моста в Двину, стрелять, жечь, «наблюдать с кривыми улычками в свои монокли...»

«Кривые» — ах, это любимое словцо Манделыштама!..

В 1933 году фашисты жгли работы Шагала в Мангейме.

Я приехал в метельный Витебск в канун Нового, 1987 года. На площади устанавливали гигантскую темную, еще не убранную, загадочную елку. Что хотелось бы увидеть на елке? Конечно, маленький музей Шагала в Новом, юбилейном году.

Подъезжаем на улицу Дзержинского, бывшую 2-ю Покровскую, где чудом уцелел одноэтажный домишко художника. Он из красного узкого кирпича, о четырех окошках в белых окладах. Рамы крашены васильковым. Собака, именованная на воротах как злая, бешено срывается с цепи на поклонников Шагала. Собственно, художник родился не здесь, а под Витебском, в местечке Лиозно, где дядя его имел парикмахерскую, но младенца сразу же отвезли в город.

Нынешний хозяин дома, отрекомендовавшийся нам Зямой, маляр на пенсии, довоенным пацаном слышал рассказы очевидцев о жившем

здесь лохматом художнике. Потолки высокие. На стене фотографии Зямы в орденах и медалях. За стеклом книжных полок вырезанный из журнала портрет грозного генералиссимуса. На полках — подписные издания, Фет, Есенин, Ахматова, современная поэзия. Зяма говорит, что ранее на месте левого окна была дверь. И правда, снаружи видим следы заложённого кирпичом проема. Так что реставраторам будущего музея есть работа, хоть и небольшая.

Война снесла 93% Витебска.

Американская комиссия считала невозможным строить на том же месте и рекомендовала перенести город. Провидение, видно, сохранило домик художника и псевдоампирный особняк начала века, в котором располагались УНОВИС — мастерские Малевича и Лисицкого.

Случилось так, что накануне витебской поездки я посетил Бородинское поле. Белые обелиски при въезде сливались со снежным пространством, и лишь чугунные орлы на них низко парили над полем. Когда переезжали речку Колочу, сердце заколотилось. На снежном холме место захоронения Багратиона обнесено свежим тесовым забором. На заборе надпись: «Опасно. Реставрационные работы». Забор желтеет на снегу, подобно бинту, пожелтевшему от гноя на ране. Это рана отечественной истории и культуры. Здесь на поле пролилась кровь князя П. И. Багратиона.

В 1932 году склеп Багратиона был преступно взорван вместе с памятником «Всем полкам и дивизиям» работы Адомини, воздвигнутым на собранные солдатские деньги. Короткий подземный ход соединял памятник со склепом героя, которого погребли здесь по идее его адъютанта и поэта Дениса Давыдова. Осталась лишь задняя стенка из белого камня, наверно, мячковского, как и детали Сухаревой башни. Округа содрогнулась от святоотатственного взрыва, Багратион вторично погиб. Позднее здесь устроили карьер — добывали камень из священного фундамента на местные хозяйственные нужды.

Этим летом найдено пять медных пуговиц, четыре позвонка, кант эполет и клочок малахитового невыцветшего егерского сукна — все, что осталось от взорванного праха бородинского героя, спасшего нашу страну, ее судьбу, в том числе и того, который отдал приказ, — где-то он здравствует поныне? Мучает ли его совесть, этого подрывника истории? Или его когда-нибудь, как на суд, привезут сюда на экскурсию? Да вряд ли он понял и помнит свой страшный грех.

«Ров — полный горечи и слез...» — написано в стихах Шагала.

В городском архиве читаю выданный Луначарским мандат № 3051: «т. художник Марк ШАГАЛ назначается Уполномоченным по делам искусств в Витебской губернии. Всем революционным властям предлагается оказывать тов. ШАГАЛ полное содействие». Прочитаем декрет грозного комиссара от 16 октября 1918 года: «Всем лицам и учреждениям, имеющим мольберты, предлагается передать таковые во временное распоряжение Художественной Комиссии по украшению г. Витебска

к Октябрьским праздникам. Губернский Уполномоченный по делам искусств Шагал.

Смотрю искрящуюся от времени старую документальную киноленту празднования 1-й годовщины Октября в Витебске, декорированном Шагалом. Горожане в шинелях, узкоплечих пальто, усищах, с бантами в петлицах, семят на параде, машут нам широкополыми шляпами. Женщины несут палки для шествия на ходулях. Улицы убраны гирляндами, шагаловским панно «Мир хижинам — война дворцам» и другим, где с герба Витебска вместо рыцаря с мечом восседает на коне веселый трубач. На полотнищах бескомпромиссные и наивные формулы: «Дисциплина и труд буржуев перетрут» или «Революция слов и звуков». Обезумев, несется сурреалистично размалеванный трамвай.

В те годы 33-летний художник писал П. Эттингеру, давнему корреспонденту Р. М. Рильке: «В Витебске тогда было много столбов, свиней и заборов, а художественные дарования дремали. Оторвавшись от палитры, я учился в Питер, Москву, и Училище воздвигнуто в 1918 г. В стенах его 500 юношей и девушек... Профессорствовали кроме меня — Добужинский, Пуни, Малевич, Лисицкий, Пэн и я. При Училище есть драмкружок, который недавно поставил в гор. «Победу над Солнцем» Крученых. (Опера Матюшина. — А. В.)». Всех их, спасая от голода, а с ними и Татлина, и Фалька, и других привлек в Витебск Шагал. Город стал центром революционной интеллигенции.

Увы, волевой Малевич вскоре стал духовным властелином Витебска. К нему перебежали ученики Шагала. Так же когда-то Мандельштам вызывал на дуэль Хлебникова, а Блок — Андрея Белого. Самолюбивый художник покидает родной город, а через пару лет и страну.

Лишь в Витебском архиве остался приказ № 114 от 29 июля 1920 года. «Завсекцией изо подотдела искусств художник Шагал за переездом в Москву освобождается от занимаемой им должности. Временно заведование секцией изо возлагается на заведующего музейной секцией художн. Ромма». От Ромма сохранилась рукопись очень интересных мемуаров, где он обвиняет Шагала в деспотизме и иных грехах. Кто рассудит художников? Думаю, их полотна.

Еще в 1936 году он писал на родину: «Меня хоть и во всем мире считают «интернац.» и французы рады вставлять в свои отделы, но я себя считаю русским художником и мне это приятно». Однако в нашей энциклопедии мы читаем тупое: «Марк Шагал — франц. художник».

Глядя на оставшиеся кубики домишек «на Песковатиках» и в старых кварталах центра, понимаешь источник чувственной манеры Шагала. Да, он учился и у Сезанна, и кубисты влияли на него, но именно так покрывали холмы и овраги плотные по цвету локальные плоскости витебских халуп.

После опубликования одного из моих эссе о художнике пришло письмо:

«Хочу сообщить Вам о Марке Шагале то, что Вы, возможно, не зна-

ете. Он был в 1923 г. нашим учителем рисования в Малаховской трудовой колонии, где мы, дети, вместе с воспитателями мыли полы, пекли хлеб, дежурили на кухне, качали воду из колодца, и вместе с нами трудился М. Шагал. Нас, детей, приобщили к труду и искусству и воспитали порядочных людей. Шагал относился ко мне тепло, я дружила с его дочкой Идой. Она тоже воспитанница Малаховской колонии. Нас, колонистов, осталось в живых очень мало, но мы будем помнить нашего дорогого учителя всю жизнь. К 90-летию М. Шагала мы, колонисты, послали ему фотографии, где он снят с нами. Он был тронут нашим поздравлением и ответил, что всех нас помнит, что сейчас богат и знатен и никогда не забудет нашей Малаховской колонии, где жил на 2-м этаже со своей Беллой и спал на железной кровати... Я ветеран труда. Еще раз благодарю за Вашу заметку о нашем дорогом учителе и великом художнике. И. Фиалкова».

А хранительница музея высвобождает из казенного конверта парижскую открытку, помеченную 7 января 1937 г.: «г. Витебск. Художнику Ю. М. Пэну. Как вы живете? Уже давно от Вас слова не имел, и как поживает мой любимый город? Я бы, понятно, не узнал его... И как поживают мои домики, в которых я детство провел и которые вместе с Вами писали...»

Остальные слова погублены, вырезаны из открытки вместе с маркой местным любителем филателии. Знал бы он, что эти слова на обороте клочка картона ценнее любой марки!.. Стались обрывки фраз: «Когда помру... обещаю Ва... Преданн...» Застала ли открытка Пэна? В том же году старый мэтр был зарублен топором.

Пэну уже больше не напишешь, и он пишет в 1947 г. тому же П. Эттингеру, которого, забыв про Пэна, называют теперь единственным корреспондентом художника в нашей стране.

«В Париже сейчас происходит моя большая ретроспективная выставка почти за 40 лет работы. Успех, как пишет пресса, громадный. Это первый раз, когда делаем выставку живого художника в официальном музее вообще, и в частности русского. И хотя я вынужденно жил вдали от родины, я остался душевно верным ей. Я рад, что мог таким образом быть ей немного полезным. И я надеюсь, меня на родине не считают чужим. Не верно ли?» Правда, однажды в письме он грустно обмолвился: «Мои картины по всему свету разошлись, а в России, видно, не думают и не интересовались моей выставкой...»

Приехав к нам в июне 1973 г., он подарил 100 листов своей графики и был огорчен, что к приезду организовали лишь скромную выставку литографий!

Приехав, Марк Захарович мечтал о встрече с Витебском и боялся ее. Конечно, Витебска его детства и след простыл. Увы, просквозившись на балконе гостиницы, он простудился — и о поездке не могло быть и речи.

Но как получилось, что родина художника оказалась единственной

из цивилизованных стран, где не издано ни одного альбома, монографии о нем, не было ни одной выставки его живописи? Имя его и произведения были долгие годы абсурдно запрещены. Во всем мире знают Витебск по его картинам и потому, что он в нем родился, а в городе нет ни музея, ни улицы его имени. Как получилось, что в этом году его картины называют «злойбой клеветой»? А В. Бегун в журнале ЦК Компартии Белоруссии «Политический собеседник» (№ 1, июль 1987) пишет о том, что «уже израсходовано много типографской краски на доказательство какой-то «ностальгии» и «любви к родине» этого парижанина», о развернувшейся якобы «шагаломании», о том, что надо «одернуть напористых мифотворцев». Мне неловко цитировать, но есть другое мнение. Оно принадлежит писателю Василию Быкову и опубликовано в «Огоньке» (№ 19—1987): «...Замечу, что белорусская интеллигенция благодарна Андрею Вознесенскому, напечатавшему свой очерк о Шагале в «Огоньке» и в этом порыве опередившему любого из нас. Конечно, поначалу мы должны были напечатать о Шагале у нас, в Белоруссии. Но у нас, к сожалению, до сих пор существует разброд по отношению к имени, к творческому наследию ныне всемирно известного художника. Снова повторяется прежняя, почти библейская истина: нет пророка в своем отечестве. Уходит из жизни художник, и мы постепенно, с оглядкой на что-то или кого-то начинаем его признавать. Осенью я разговаривал с руководством Витебской области о создании музея Шагала, вроде бы возражений особых не было, но и дел конкретных тоже не видать».

Пора издать достойный альбом и монографию мастера. Исследования Гугенхольда и Эфрона, вышедшие в 20-е годы, недоступны ныне, да и, увы, сейчас неполны. Они говорят лишь о начальном его периоде.

В витебской старинной кладке растровные швы голубеют — связующий раствор имел некий секрет, почему-то он голубого цвета.

Сквозь кирпичные фасады тонкой сеткой будто просвечивает небо. Отламываю крошку раствора — может, химическая экспертиза даст разгадку этого василькового синего — голубизны, пронизывающей Шагала?

Значение живописцев отнюдь не только музейное, историческое. Художник дает свежий взгляд на вещи. Он развивает интуицию, открытие, озарение и в других сферах. Зря разве наши ученые устраивают у себя выставки П. Филонова и других художников?

На сегодняшней выставке, гала-ретроспекции Шагала, зритель впервые увидит полотна, долгие годы томившиеся в запасниках наших музеев, эскизы к декорациям еврейского театра. Этот Шагал для меня главный — русского периода, как Заболоцкий для меня главный периодом «Столбцов», а Пастернак — «Сестры моей жизни». Это плотный, активный цвет, колдовство биологии цвета и духа, психологизм цвета, очень национальные мотивы, библейские не только по колориту, но и страсти духа, познавшего парижскую школу и преодолевшего ее на свой витебский лад.

30 полотен привезла с собой щедрая Валентина Григорьевна, 15 холстов — из собрания Иды Шагал. Будучи в Лос-Анджелесе в этом году, я пригласил доктора Хаммера, друга нашей отечественной культуры, принять участие в Московской выставке. От него прилетел «Голубой ангел».

«И невозможное возможно», — эти слова голубого Блока не идут из головы на сегодняшний день. Невозможное сотворено гениальным мастером, невозможное сотворено усилиями устроителей этой уникальной выставки. Невозможное стало возможным сегодня.

Поздравляю Вас с возвращением, великий мастер. Поздравляю нашу и мировую живопись, поздравляю зрителей — нас всех поздравляю. Поздравляю наш век со столетием его мастера — с веком Шагала!

БАШНЯ-ВСАДНИЦА

Конечно, мечтательные герои Шагала во франтоватых картузах с лакированными козырьками, со скрипками, в штиблетах и лапсердаках были завсегдастыми Сухаревки, этого «Блошиного рынка» Москвы. Сухарева башня прикрывала их от житейских ненастий своим кирпичным барочным крылом.

Она была душевным нутром Москвы. Без нее Москва неполная. Крашенная в «красный и дикий цвета с белокаменными украшениями», она была воздвигнута как благодарный подарок Петра стрелецкому полковнику Лаврентию Сухареву за то, что тот привел свой полк, когда в августовскую ночь 1689 года юный царь бежал в Троице-Сергиев, опасаясь бунта стрельцов. Зодчий Чеглоков возвел эту житейскую вертикаль Москвы, ее народную святыню. Порой она капризно меняла цвета — вдруг становилась изумрудной, как преображенский камзол.

Башня стала символом города, вошла в говор, о ней складывались песни, оды, поговорки, похабелки; в одной из них народ женил на ней столб Ивана Великого. В ней разместил свою лабораторию и первую обсерваторию нашу обрусевший Брюс — генерал-фельдмаршал, основатель первого российского календаря, а по народным легендам — демон и чернокнижник. Он летал по ночной Москве верхом на черном орле, он создал себе на потребу девку из живых цветов — некоего растительного робота. Окропив живой водой разрезанные тела, он омолаживал мертвецов и стариков. Так он омолодил себе ученика. Но когда сам решил омолодиться, жена с учеником-любовником разъярили его тело для омоложения, но воскрешать не стали...

Кто восхитился башней, кто проклинал ее, считая бесовским наваждением, иностранщиной, зарубежным модерном. Многих современников она возмущала петровской технической новизной — там ведь был первый московский водопровод, — как позднее резала глаза башня Татлина.

В тяжкую пору Москвы, когда сносились главы соборов, под корень

вырубались ампирные кварталы, казнились святыни архитектуры, сводились парки, башню, естественно, ждала участь бульвара Садового кольца.

В институте я полсеместра вычерчивал и отмывал фасад «Книжной палаты» ампирного особняка князя Гагарина. Его пропорции воспитывали чувство прекрасного во мне. Увы, он был разрушен, как и многие иные преступно погубленные шедевры московского зодчества. Лик Москвы был непоправимо искажен. Настал черед и Сухаревой башни.

В то время даже купола Василия Блаженного у Лобного места ожидали казни. Академик Жолтовский рассказывал мне, как один из наркомов, рискуя многим, во время спора о реконструкции столицы, спас храм от сноса. Губитель уже скинул его макет со стола.

Увы, Щусеву, Барановскому, Фомину и Грабарю не удалось отстоять Сухареву башню.

Один из подвижников нашей отечественной реставрации, Лев Артурович Давид — по крещению Андрей Артурович, — в своей комнатухе, увешанной портретами отца — французского гусара, погибшего в империалистическую войну, и матери, осанистой красавицы древнего боярского рода, с которой П. Корин писал «Русь уходящую», поведал мне историю гибели башни, которой он был свидетель.

Он был тогда учеником в архитектурной мастерской. Взрослые боялись вступить за башню в грозное время и послали его, подростка. Он поехал в шехтелевский изразцовый особняк к Горькому. Горький принял его, обеспокоился и дал телефон важнейшего ведомственного лица с наводящей ужас фамилией. «Спасти башню не в моих силах, — ответило лицо юноше. — Но я дам вам недельную отсрочку, чтобы можно было спасти архитектурные детали». В сопровождении командира с маузером на боку возвращался Давид в мастерскую. Так удалось обмерить башню, снятые с нее лепные украшения поныне хранятся в Коломенском и Донском монастыре.

Слезы стояли в глазах Давида во время его печальной исповеди.

Башня, как и у многих ратуш, стояла, словно на коне, на продольном фасаде.

После того как я написал в «Литературке» о судьбе башни, ко мне приехали старейшие зодчие Меньшов и Рагулин, отец хоккеиста. В руках был готовый проект восстановления башни. Думаю, волна народного мнения поможет восстановлению башни. Министерство Морского флота дает деньги. «Надо торопиться, — говорил румяный Петр Митрофанович Меньшов, энтузиаст секции моржей. — Мне уже за восемьдесят». Увы, он не успел. Месяц назад не стало Меньшова.

Есть много вариантов реставрации.

По предложению М. Захарова я написал поэму — сценарий оперы «Сухарева башня». Он занял клеенчатую тетрадь. Перед очередным отлетом я прочитал ее Захарову и Рыбникову. Но тетрадь куда-то затерялась. Исчезла куда-то. Найти и восстановить невозможно. Какие-то останки сохранились в мозгу. Вот одна из сцен-главок:

На Сухаревой башне Иван Великий женится!
В Москве землетрясение, как брачная кровать.
Сдавайте яйца на сооружение!
На белках строениям сто лет стоять.

Иван Великий женится на Сухаревой башне.
Свидание на уровне облаков.
Мы не знаем техники безопасности.
Я — ее строитель, Чеглоков.

В обмороке Пиза, худеет Эйфелева.
Народу требуется вертикаль.
Мой характер — башня. Другие дрейфили.
Стиль из этого вытекал.

Свадьба, свадьба — бешеные кубки.
Гостей уносят замертво от стола.
Запеклась от сурика на невесте шубка.
Сурикову жутко за дочь Петра.

Плачьте, музы, по отцу и мужу!
С новеньких помостов, как с грузовиков,
прыгают по площади страшные арбузы
с вырванными клиньями языков.

Падая на землю страшным креном,
ухватясь за воздух крылом крыльца,
вспомнишь ты когда-нибудь,
башня убиенная,
молодой хохочущий пир отца.

«Без меня пируйте, герои площади!»
Башенка-невеста, дочь Петра,
вспрыгнула на крышу, как на спину лошади,
и умчалась всадницей со двора.

Держи беглянку! Ее стреножили.
Врыли в землю. Но еженощно
тайком уезжает куда-то всадница,
а к утру возвращается в слезах и в ссадинах.

Едет, едет по России всадница,
поит, поит водой с седла.
К ней бродяги тянутся, по ней слезы катятся.
Под Коломной башенку родила.

Едет, едет по мукам всадница,
как исповедальница Катюш и Сатиных.
Сбила душегуба, потупя взор,
въехала к молящимся в собор.

Едет, едет по свету всадница
к Вестминстеру, к Эмпайру, к Башне бед.
От нее прямая улица в Останкино—
в десять километров и 300 лет.

БЕЛЫЕ НОЧИ БОРИСА ГРЕБЕНЩИКОВА

Он приехал в Переделкино, как всегда, неожиданно, после внезапного звонка — по-хорошему худой, этаким вольный рок-стрелок с гитарой вместо лука или арбалета. Привычная к странствиям куртка, холщовый шотландский подсумок, удлинненное бледное лицо с улыбочкой фавна и полусапоги, которые он порывался снять, чтобы не наследить, — все обозначало в нем городского Робина Гуда.

Освоясь в тепле, ночной гость рассказал, как на днях утонул Саша Кусуль, скрипач из их «Аквариума», — переплыл Волгу, а на обратном пути сил не хватило.

Перед тем как запеть, гость разложил на столе рядом со столовыми приборами музыкальные футлярчики и надел на шею металлический хомут-подставку для губной гармошки. Начал с «Деревни».

Ах, эта постпунктфлойдовская деревня, тонко оркестрованная кваканьем лягушек, ночными вздохами и потусторонней скрипкой Куссуля, где протяжные северные российские распевы переплетаются с кельтскими — это отнюдь не полуграмотная деревня под стиль «а ля русс», а новая загадка, в которой есть судьба, свобода, душа и свой язык, — о чем ты, вечно вечная и новая природа?

Ночные переделкинские перелески и сирени с незавышенным фоном прильнули к стеклам послушать про себя.

Если же станет темно, чтобы читать тебе,—
Я открываю дверь, и там стоит ночь.

Голос Бориса Гребенщикова высокий, странный, с нереальным отсветом, будто белая ночь. Культура Северной Пальмиры стоит за ним.

Когда он, закрыв веки, оборачивается к окну в профиль, его белокорые волосы, схваченные сзади тесемкой, чтобы не мешали, походят на косу времен Павла I.

В отличие от «хард-рока» и «металлистов» автор бережен к слову, он следует не только школе ироников Заболоцкого и Хармса, но и волевому глаголу Гумилева.

Сквозь пластмассу и жезл
Иван Бодхидхарма склонен видеть деревья
Там, где мы склонны видеть столбы.

Гребенщикова 33 ныне. Принято считать это возрастом Христа и Ильи Муромца, возрастом душевных свершений. Он окончил факультет математики ЛГУ, работал программистом, подтверждая практикой тезу петербургского поэта, что надо верить больше математике, чем мистике. Его отличает тонкий профессионализм, артистизм, истинное знание классики. Еще студентом, оцепенев от битлов, основал он ансамбль «Аквариум», пожалуй, самую некоммерческую из наших групп. Он популярен. Люди, не знающие его аудитории, представляют ее сборищем нравственных уродов и истеричек. Между тем это серьезные знатоки. Ему, как сегодняшнему лидеру кассетной культуры, пишут тысячи — студенты, молодые солдаты и офицеры, таежники. Музыка единит людей и народы.

Когда к нам заезжал Боб Дилан, мне не удалось их свести, но, думаю, заокеанскому кумиру пришлось бы по душе русские распева современного ленинградца. Зато с Алленом Гинсбергом они заинтересованы играть друг другу в наших деревянных стенах.

«Всухую», под гитару и губгармошку, поет он свой «Глаз», который, конечно, теряет без оркестровки труб, но выигрывает в искренности:

На нашем месте должна быть звезда.
Ты чувствуешь сквозняк, оттого что это место свободно.

Вслушиваясь в ночного гостя, ищущего свои пути, в его «Детей декабря» и «Небо», я пытаюсь понять загадочное, ироничное племя, про которое столько ворчливо втали, видели в нем только варварство, отпихивали от культуры, нарекали эгоцентризмом и инфантилизмом. Но именно они, юные пожарники Чернобыля, не дожидаясь производства защитных скафандров, шагнули в огонь, спасли Киев, Смоленск и нас с вами, именно они, аудитория Гребенщикова, 18-двадцатилетние пограничники, вытащили сотни тонущих с «Нахимова». Поверим их вкусу. Их сложному внутреннему миру. Пусть играют и слушают что хотят.

Музыка для них не только главное увлечение, это средство общения в разрозненной жизни. Нынешние дети с ходу отличают группы «Зоопарк», «Браво», «Звуки му», «Кино», «Роллингстоунз» и «Коктоз твинз», так же, как детство их прадедов отличало раскраску ирокезов от могикан по Ф. Куперу и М. Риду.

Происходит рождение некоего коллективного музыкального сознания, миллионы магнитофонов страны сливаются в некую духовную индустрию, по кассетному селектору откликаются миллионы душ. Это — явление. Или, правда, идет создание «рок-фольклора» молодого народа эпохи НТР?

Овоенная массами современная музыкальная аппаратура ничуть не сложнее для детей компьютерного века, чем была для своего времени гармошка, изобретенная в прошлом веке обрусевшим немцем.

В случае Гребенщикова эта новая стадия «устного народного творчества» сложна и тонка по вкусу. Настоящий мастер всегда образован. Скажем, кажущаяся площадность Высоцкого обманна — он читал и читал Бальмонта, Цветаеву и современных мастеров. Новая музыкальная культура, пробиваясь с боем, противостоит как тугоухим консерваторам, так и разливанному морю механической поп-культуры.

Гребенщиков написал более 200 песен. Из них составлено 20 тематических альбомов. Недавно друзья его позвонили в тревоге: худсовет «зарубил его первую пластинку», назначен новый худсовет, чтобы дорубить окончательно. Я приехал туда — оказалось, это не сборище монстров. Просто им надо было объяснить стихи. Так был принят диск — первый диск Гребенщикова. Коротко стриженный автор скромно ожидал в предбаннике решения худсовета. Не всем новое явление по вкусу. Есть у него вещи еще недодуманные. Так и должно быть.

Уходя, застенчиво сутулясь, Борис дал мне свою прозаическую повесть, уходящую в глубь сказов и «нескладух».

Новое время работает на новые песни.

На этом диске звучат последние записи скрипки Александра Кусселя. Жаль, что он уже не услышит этого диска.

НЕБЕСНЫЙ МУРАВЕЙ

Поблескивают крылышки пенсне. Вопреки басням изнурительный характер труженика в нем сочетается со стрекозиной легкостью танца. Стихи его пропитаны муравьиным спиртом.

Ходасевич — летучий муравей российской поэзии.

Пробочка над крепким йодом!
Как ты быстро перепрела.
Так вот и душа незримо
Жжет и разъедает тело.

Даже одною этой строфой Ходасевич навеки ввелся в изящную русскую словесность. Но почему именно она волнует нас сегодня, во всемирный период полураспада йода, когда, пощелкивая щитовидкой, мы проборматываем эти стихи? 65 лет назад, в пору написания, они казались ерническими, «аптекарскими», оригинальничаньем: душа и йод, ну что у них общего?

Академик Ферсман, назвав йод вездесущим, писал: «Трудно найти другой элемент, который был бы более полон загадок и противоречий, чем йод. Больше того, мы так мало о нем знаем и так плохо понимаем

самые основные вехи в истории его странствий, что до сих пор является непонятным, почему мы лечим при помощи йода и откуда он взялся на земле».

А душа? Не она ли полна загадок, опасностей, лечебных свойств, противоречий? Не самая ли это странная субстанция, так называемая душа, не она ли основа всего сущего? Как объяснить химическую формулу ее, к которой автор так стремился? И что грозит нам в период полураспада ее? Ее таинственное, опасное могущество до всех Эйнштейнов и МАГАТЭ почуял брезгливыми ноздрями желчный поэт с йодисто-желтым лицом, «шипящий шуткой» и рыцарской верностью классической розе.

Современники не слишком ценили его. Авангардисты считали его стихи «дурно рифмованным недомоганием». Остролов, князь Святополк Мирский назвал его «любимым поэтом всех тех, кто не любит поэзию». Однако зоркий бабочник Набоков, посвятивший две статьи поэту, так описывает его, увы, уже в некрологе: «Крупнейший поэт нашего времени, литературный потомок Пушкина по тютчевской линии, он останется гордостью русской поэзии, пока жива последняя память о ней». С ним сходен Горький в письме к Федину, который за шестнадцать лет до этого охарактеризовал Ходасевича как «лучшего, на мой взгляд, поэта современной России...».

Характеристика эта тогда не убеждала — в то время существовали Ахматова и Цветаева, Пастернак и Бунин, Хлебников и Маяковский, Есенин и Мандельштам. Подобные высказывания не заглушили скептицизма общего хора. Его петербургский ровесник Гумилев надменно обмолвился: «Он пока только балетмейстер — и добавил: Но танцу учит священному».

Владислав Ходасевич родился ровно столетие назад, в 1886 году, в Москве, печататься он начал в 1905 году, тоже одновременно с Гумилевым. Будущий поэт был шестым ребенком в небогатой семье Фелициана Ивановича Ходасевича, обедневшего дворянина, незадачливого художника родом из Польши, ставшего торговцем фототоваром.

Позднее на чердаке в Париже поэт помянет отца шестипалой строфой своих дактилей:

Был мой отец шестипалым...

Веселый и нищий художник,

Много он там расписал польских и русских церквей...

С детских лет всю жизнь поэт бедствовал, трудился до изнурения, одиночествовал, много и тяжело болел. Наставниками его лиры были не только Бальмонт, Белый, посаженный отец на его свадьбе Брюсов, с кем он стал накоротке с шестнадцати гимназических лет, но и тульская крестьянка Елена Кузина.

Учитель мой — твой чудотворный гений,
И поприще — волшебный твой язык, —

с волнением произнесет он в одическом посвящении ей.

Увы, куда залетели крылышки пенсне, в какие дали от полей и речей Елены Кузиной?

От ничтожной причины к причине,
А глядишь, заплутался в пустыне,
И своих же следов не найти...

Будучи в сентябре на фестивале в Западном Берлине, я заехал в чудом оставленные войной угрюмые кварталы, где в 20-е годы жили Андрей Белый, Цветаева, Ходасевич. Угловое кафе «Праге Диль», воспетое им, сохранилось. Я вошел в «Прагедильчик». Массивная дверь начала века захлопнулась за мной.

Здесь творил свои безумные пляски Андрей Белый — в черном жакете и с желтой розой в петлице, именно в этом кафе он назвал стихи Ходасевича ванной Архимеда, где все лишнее вытесняется. К этой стойке подходил Есенин с Дункан после вечера в Клубе литераторов, поотругивавшись от монархистов и за распаханность таланта получивший шквал аплодисментов. Сюда присаживался отдышаться Маяковский, покори́в аудиторию русского Студенческого союза, где бывший кубофутурист выступал на сцене с бывшим эгофутуристом Северяниным и Кусиковым. Здесь бражничал, заглушая тоску буйством, Алексей Толстой.

Что ж? От озноба и простуды —
Горячий грог или коньяк.
Здесь музыка и звон посуды
И лиловатый полумрак, —

так описывал это кафе Ходасевич в стихотворении «Берлинское».

Позднейшие хозяева перестроили интерьер и стойку бара. Горячего грога не оказалось. Из колонок звучала английская группа.

Я сел у окна, спиной к залу. Вид из окна ничуть не изменился за эти годы. В тумане мрачнели доходные дома стили модерн начала века. Поблескивали трамвайные рельсы. Об эти тротуары и порог кафе некогда цокали набойки Пильняка. В окно глядел Берлин Федина, Шкловского и Ремизова. В те годы город был буфером между культурами. В сорока русскоязычных издательствах — просоветских, монархических, сменовеховских — печатались приезжавшие сюда Бунин, Эренбург, Пастернак, «Серапионовы братья». В один год здесь вышло на русском языке книг больше, чем на немецком. Отечественный Дом литераторов сотрудничал с берлинским Домом искусств.

Свет редких автомашин бьется о стекло. Будто крылышки дрожат. Накрапывает. Что за тени толпятся перед окном?

И проникая в жизнь чужую,
Вдруг с отвращеньем узнаю
Отрубленную, неживую
Ночную голову мою.

За этим столиком один из западноберлинских коллекционеров подарил мне неизвестную фотографию Гумилева, где петербургский сверстник Ходасевича поднял руку в окружении сестер Наппельбаум, полсатого банта Одоевцевой, Георгия Иванова...

Как известно, приезд сюда Ходасевича имел отнюдь не политические мотивы, «Кое-какие события личной жизни выбили из колеи, а потом привели сюда, в Берлин, — читаем мы в автобиографии. Поэт пытался отъездом вырваться из семейных пут. Он приехал сюда с двадцатилетней поэтессой Ниной Берберовой. Мемуары язвительно свидетельствуют: «Меня поразило, что он сматывался втихаря от женщины, с которой он провел все тяжкие годы и назвал женой». А вот хмуро вспоминает редактор берлинского журнала: «Помню, как пришел только что приехавший из Сов. России Владислав Ходасевич. Он был страшно худ, с неприятным лицом вроде голого черепа и длинными волосами... Ходасевич заходил часто. Один раз он меня крайне удивил, сказав: «Только, пожалуйста, если будут у вас рецензии о моих книгах, чтобы никаких неприятных резкостей. Я же ведь хочу возвращаться».

Он любил кошек — может быть, это Елена Кузина наговорила ему о коте Котофеиче? Или Арина Родионовна зарифмовала со сказкой его фамилию?

«Для такого человека, как Ходасевич, эмиграция была трагедией», — предваряет его «Избранное» Н. Берберова. Трагедия была не в тяготах быта, не в болезнях, кончившихся раком, — боль и трагедия духа зияли в каждой строфе поэта, душераздирающе наполняя кажущуюся ранее холодной его классическую поэтику.

В последних стихах поэт сдирает с себя не только сюртук и сорочку — кожу сдирает. Вслед за шпенглеровским «Закатом Европы» он разглядывал европейскую ночь и ужаснулся. Тютчевские тучи в ту пору набрякли ожиданием войны и фашизма. Последнюю жену Ходасевича в 1939 году немцы увезут из Парижа в Германию, где она погибнет в концлагере.

С позиции маленького человека, с позиции пушкинского Евгения он судит бездны мировой истории, медный топот деспота и страшную стужу европейской ночи в лучшей своей книге. Это свод леденящих душ замерших шедевров.

Мне невозможно быть собой,
Мне хочется сойти с ума,
Когда с беременной женой
Идет безрукий в синема.

Какой гнев, сарказм в этих мцыриевых глухих ударах ямба! Будто гневный водопад замерз на лету.

Ременный бич я достаю...
И ангелов наотмашь бью...

Какое бешенство энергии — такого поэт не знал до этого!
Трагедия сквозит в каждом из четверостиший-окон, где мировая скука рассматривает телевизоры квартир.

В иронии, черном юморе одиночества есть общее с написанными в те же годы вещами Заболоцкого, Хармса, Введенского.

Особенно видна близость с Заболоцким, не случайно они оба увлеклись музой капитана Игната Лебядкина. Пожалуй, это редчайшие примеры чистого «сюрреализма» в нашей поэзии. Как по-новому звенят в старой строфике термины новой цивилизации — «Радио», «Электричество», «Пирамидон».

Вверху — грошовый дом свиданий.
Внизу — в грошовом «казино»
Восселись зрители. Темно.
Пора щипков и ожиданий...
За ней вприпрыжку поспешая,
Та пожирней, та похудей,
Семь звезд — Медведица Большая —
Трясут четырнадцать грудей...

Запустите в это казино персонажей «Фокстрота» или «Свадьбы» Заболоцкого, они будут чувствовать в его стихе как дома.

И бал глядит, единокор.
И бабы выставили в пляске
У перекрестка гладких ног
Чижа на розовой подвязке.

Ходасевич, как и Заболоцкий, вводит в текст реальные фамилии: «Целует девку Иванов», «По лугу шел красавец Соколов», «Умирает вдруг Савельев»... «Дурак» для него не ругательство, а обозначение вида. Но там, где у Заболоцкого давка цвета, буйная вещьность, написанная плотно, плотски, сочным филоновским маслом, у Ходасевича процарапано духовной иглой офорта. И из щелей Дух сквозит. И за всем кричит трагедия. Офорты эти заходят за смертную черту, как и за черту дозволенного, — так дико Аидово видение старика с его одинокой страстью в подземном туалете:

А из соседней конуры
За ним старуха наблюдает...

Вопит отчаянное одиночество и предощущение еще большего одиночества — предстоящего. Может, уже здесь посетило поэта предчувствие исчезновения человечества как биологического вида?

Беспощаден, трагичен и щемящ автопортрет поэта, лицо, вплотную приблизившееся к читателю.

Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вон тот — это я?
Разве мама любила такого.
Желто-серого, полуседего
И всезнающего, как змея?

В манере Владислава Ходасевича сияет сухость иглы офорта, отчетливость деталей, вытравленных ядовитой усмешкой на медной доске. Предметы как бы обведены светящейся линией. Культура стиха, вкус его порой даже слишком безупречны. Порой он прячется за черной самоиронией, в скорлупку скептика.

«На трагические разговоры научился молчать и шутить». Чем трагичнее назревали разговоры, тем отчаяннее становились шутки.

Люблю людей. Люблю природу.
Но не люблю ходить гулять.
И твердо верю, что народу
Моих творений не понять.

Тут уже один шаг до Глазкова. Это от ранимости и сверходиночества. Каждый поэт всегда одинок, но вряд ли была в нашей поэзии столь одинокая фигура! Уходящие от него красивые жены лишь подчеркивали эту сквозящую ноту. В них была роскошь покидающей жизни. Первая супруга его, восемнадцатилетняя красавица, полковничья дочь Марина Рындина, поражала эксцентричностью эскапад в духе тех лет. «Была она необычайной красоты и совершенно бесстыдная, приходит, бывало, на литературное собрание, идет прямо к столу, в руках какие-нибудь необыкновенные орхидеи, сбрасывает шубу и садится за стол голая, ну, совершенно нагишом! — хихикает уже цитированный мемуарист. Вскоре Рындина покинула поэта, выйдя замуж за редактора «Аполлона» С. Мавковского.

Какие красивые у него были музы!

В Принстоне я цепенел от пантерной красоты Нины Берберовой, которая профессорствует там, — она одна из интереснейших сегодняшних прозаиков, последняя из тех, кто хранит дыхание Ходасевича.

Мало кто из поэтов так воплощал в себе Культуру. Классцист, скитаясь, он возил с собой по свету восьмитомник Пушкина, как горсть родной земли с собой носят. Он стучал парнасской палкой на «заумников», Хлебникова и Цветаеву. Не все из завсегдатаев «Книжной лавки писателей» на Кузнецком мосту помнят, что она была основана Ходасевичем и Муратовым.

Он как-то воскликнул: «Надо, чтобы наше поэтическое прошлое

стало нашим настоящим и в новой форме — будущим». Упоительны его работы о Пушкине, о «щастливом» Вяземском, Дмитриеве, Грибоедове, «Слове о полку Игореве». Труженик он был отменный. Муравьиный характер сказывался. Академик Д. С. Лихачев при упоминании о Ходасевиче восторженно восклицает: «Надо издать его великолепную работу о Державине». Кстати, и в сегодняшнем номере «Огонька» он снова повторяет, что «мы должны более смело издавать писателей XX века, чье творчество по той или иной причине мало, а порой и совсем неизвестно».

Был ли он пушкинианцем по сути? Поэтика, строфика, возлюбленный ямб — все идет от Пушкина. Но по мирозерцанию поэты были противоположны. Солнечный космос Пушкина — день — покрыт покрывалом ночи. У Ходасевича, вслед за Тютчевым — наоборот, день, как покрывало, покрывает мировую ночь. В этом они подошли к нынешнему значению черного космоса. Об этом бряцал поэт на своей тяжелой лире в «Ласточках»: «Имей глаза — сквозь день увидишь ночь».

Как он любил Тютчева, как оберегал его от непонимания!

«Иногда поступали с варварской наивностью: просто зачеркивали то, что было истинным предметом стихотворения и для чего «картина природы» служила только мотивировкой или подготовкой. Так, знаменитое стихотворение «Люблю грозу в начале мая» сплошь и рядом печаталось без последней строфы», — писал он в 1928 году. Увы, и ныне, в 1986 году, наши школьники учат по хрестоматиям это классическое стихотворение тоже без последней строфы!

Порой в его пенсне отражались чужие лица и песни.

Ты скажешь, ангел там высокий
Ступил на воды тяжело, —

мы слышим тютчевскую интонацию.

В описании пляжа мелькнет Пастернак:

Какой огромный умывальник!

Но он щедро посмертно платил долги. В предсмертных строках Пастернака есть общие мотивы:

О господи, как совершенны...
Мне сладко при свете неярком,
Чуть падающем на кровать,
Себя и свой жребий подарком
Бесценным твоим сознать.

Культура его слышна и в поздних поэтах:

«Лысый демон
палочкой взмахнет»...

(*Р. Рождественский*)

Вспоминается:

Но неудачник облыселый
Высоко палочкой взмахнул.

Владислав Ходасевич не был для меня самым любимым поэтом эпохи. Я поклонялся другим богам. Многие его стихи я понимал скорее умом души, чем ее сердцем. Сердцем я затвердил его «Перед зеркалом» и другие стихи, что печатаются в сегодняшней подборке, в иных же стихах мешала скупость, некая сухость его гортани. Однако моя поэтическая полка неполна без его фисташкового томика. Есть и другие суждения. «Ахматова — однообразна, Блок тоже, Ходасевич разнообразен, но это для меня крайне крупная величина, поэт-классик и большой строгий талант», — читаем мы в письмах Горького. Для меня Блок и Ахматова — полифонические эпохи. Да и зачем одним поэтом унижать другого? Но я понимаю и такую влюбленную точку зрения, тем более что высказана она основоположником социалистического реализма.

С Горьким они были близки. Ходасевич часто бывал у него в Сорренто. В «Соррентийских фотографиях» он описывает мотоциклетку Максима, сына Горького. Муравьиный спирт чувствуется в воспоминаниях Ходасевича.

«Перед тем как послать в редакцию... свои воспоминания о Валерии Брюсове, я прочитал их Горькому. Когда я кончил читать, он сказал, помолчал немного:

— Жестоко вы написали, но — превосходно. Когда я помру, напишите, пожалуйста, обо мне».

Порой вражда заслоняла от него поэта, как в случае с Хлебниковым и особенно с Маяковским, к которому, как к раннему, так и позднему, он был предвзят. Через десять дней после самоубийства Маяковского, во время, когда Пастернак, обезумев, рыдал над гробом и Цветаева цепенела от горя, он написал злой фельетон.

Был он строг и со студийцами Пролеткульта. Давний мой переделкинский сосед В. В. Казин, некогда пролетарский поэт, с благоговением вспоминал его лекции о Пушкине. «На основании этого знакомства, — читаем мы у Ходасевича, — я могу засвидетельствовать ряд прекраснейших качеств русской рабочей аудитории. Прежде всего ее подлинное стремление к знанию и интеллектуальную честность... во всем она хочет добраться до «сути». Увы, вульгаризаторы Пролеткульта заревновали к Пушкину. И лекции прекратились.

Не о славе он молил и тосковал, не о «грубой славе и гоненьях», возвращаясь мыслями к земле Елены Кузиной, не кичился своим большим успехом, не самоутверждался гордыней, это его одиночество болело о понимании, лишь о понимании, из вступления к «Европейской ночи»:

Смотрели на меня — и забывали
Клокочущие чайники свои;
На печках валенки сгорали;
Все слушали стихи мои.

С 20-х годов Ходасевич не переиздавался у нас. Думаю, нынешнему читателю он будет близок культурой стиха, требовательностью, экономным волшебством русского языка. Как порой неряшлива, необязательна сегодняшняя строка, как мало она задумывается над вечными общечеловеческими вопросами, порхает за суетным!

В душе и мире есть проблемы,
Как бы от пролитых кислот.

«Хранят культуру не те, которые вздыхают о прошлом, те, кто работает для настоящего и будущего», — эти слова Ходасевича будто сегодня сказаны. Пора спокойно и научно вернуть Ходасевича отечественной культуре, чтобы его творческое наследие перестало быть «белым пятном» в нашей поэзии завершившегося века. Том его должен занять свое место на полках читателей.

ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ

Тревога за уходящую культуру — главная нота писем, пришедших после опубликования моего эссе «Прорабы духа». Странное дело! Месяцы прошли, успела выйти книга под тем же названием, но почта продолжает идти.

Радостно, что идея подвижников духа, обеспокоенность культурой взволновали столько сердец. Пишут на редакции, на Союз писателей, домой, называют имена своих бессребреников, «прорабов духа» и «прорабов нюха», указывают аварийные точки пути исправления — значит, это совпало с их собственными мыслями, с активным началом в них, значит, они разделяют мысль о заповедности культуры, о том, что культура в опасности.

В опасности не только внешняя среда, вековые леса и реки — экологическое угасание внутренней духовной среды куда опаснее, чем внешней. При крахе первой погибнет вторая. Мы измеряем счетчиком Гейгера степень радиации, определяем заражение салата и сирени, загрязнение среды и обмеление озер, но чем измерить духовное обмеление, когда у Калигуле или Моцарте узнают лишь из видеокассет при почти поголовном неппрочтении целиком «Войны и мира»?!

Синие и белые ласточки писем, стремительные защитницы среды, обеспокоены оскудением культуры, в них страсть, тоска по истинным ценностям, за каждой строкой стоит судьба, из этих многих сотен пришедших писем складывается особый новый характер — «фанат культуры», некий транзистор идеи, проводник духа. Это некий «меценат снизу», личность бескорыстная и героичная, порой неудобная для окружающих.

«А публикация «Прорабов духа» в Витебске произвела такой эффект, как (уверен!) ни в каком другом городе,— пишет Сергей Н. с улицы Урицкого.— В те дни собирались взрывать старые витебские дома. Они хотя и не принадлежали к зарегистрированным памятникам архитектуры, но были самой историей, дорогие каждому витеблянину. Правильно сказал Д. Лихачев — рядовая застройка определяет лицо города. Это лицо и у Витебска хотели смазать. И тут — Ваши «Прорабы», в самом высоком смысле публицистическая вещь! Она заставила многих задуматься, по-новому взглянуть на привычное. Потом появились выступления в местной печати (кстати, с ссылками на «Прорабов»). Многого удалось отстоять, за многое еще будем бороться. Не знаю, ожидали ли Вы от публикации конкретных реакций, но в Витебске они случились».

Эти активные защитники среды. Третьяковым можно быть и не будучи миллионщиком. Культура в опасности не только когда рутятся здания, но и в том, что мы стали меньше читать. Раньше троллейбусы и метро были вагонами-читальнями. Инженер из Кемерова беспокоится, что в школе литературу вытесняют другие дисциплины. За это мы можем расплатиться изменением уникальных черт нации — мы лишимся золотого запаса читателя.

Живая вода Есенина засоряется суконным языком пошлых комментариев. Хищнически собираются ландыши Фета. Река Толстого постепенно отходит от людей, оттесняемая полулитературой и полумузыкой, культуру оттирает информация. Эрозия грозит не только почве.

«Все, о чем Вы пишете, мило моему сердцу. Слава богу, остались прежние названия: Пятницкая, Ордынка... И что за мода все переименовывать?» М. Васильева, Москва.

«...На свою статью Вы получите, конечно, тысячи «откликов». Совет и Память — болевые точки времени,— пишет Д. Сапожникова из Омска.— Вы назвали святые имена русского искусства. Но боюсь, что даже Вам неизвестно имя художника Гуцина, в пору своего расцвета оказавшегося во Франции, но жившего там не до конца жизни (как Шагал), а вернувшегося в 50-е годы и окончившего свои дни в Саратове. Он вернулся, и нам некому его уступить задаром. В Саратовском музее 2—3 картины Гуцина, даже рядом с «умирающим жемчугом Врубеля» не теряются эти полотна...»

Я — в Саратове.

Вечерний город, как платок зеленой с золотом и белой вязки, наброшен на высокий, спадающий к Волге склон.

Меня давно тянуло в этот город с особой аурой, как и Томск, Воронеж или Одесса. Именно в сумерках, идя по историческим «Липкам», по улочкам, из которых всякая ведет к Волге, с волнением ощущаешь некое биополе одного из живописнейших центров нашей провинции, будто приобщаешься к главной ее загадке — к тайне возникновения феномена русской интеллигенции, понятию, не переводимому ни на один из европейских языков.

Что за звезда сияла над Саратовом? Почему именно в нем на заре века вспыхнула плеяда нового искусства — Борисов-Мусатов, Петров-Водкин, П. Кузнецов, Матвеев, Уткин? Думаю, немалую роль сыграло создание в 1885 году первого в России общедоступного музея отечественной живописи.

Сконцентрированная культура его облучила сорванцов деревянных домишек, татарских базаров и рыбалок. Отставной морской офицер и живописец Алексей Петрович Боголюбов долго улещивал саратовское купечество. Коллективные меценаты почесали бороды и открыли музей, назвав его именем вольнодумца Радищева. До сих пор уплотненность таланта на метр стены здесь больше, чем в других собраниях. Так в стихотворении концентрация слов напряженнее, чем в пространственной прозе. Плотно, словно печные изразцы, покрывают стены баснословные Левицкий, Брюллов, тенистый Сомов, знойный Фальк, пернатые жар-птицы Лентулова.

29 июня 1985 года исполняется сто лет Саратовскому музею, это будет всероссийский День рождения нашей живописи, ставшей организмом. Музей имел в момент открытия 2 тысячи экспонатов, сейчас в нем 16 тысяч (и каких!). Однако помещение за это время не расширилось ни на метр. Шедеврам стало тесно. Здание вот-вот лопнет. Лучшим подарком ко дню рождения была бы пристройка к музею. Музей стоит, каким его купцы построили. Почему не помочь саратовцам? Неужели жаль республиканских фондов на это святое дело? Неужто купцы более радели за искусство, чем мы с вами?

«Хозяйка» музея Тамара Викторовна Гродскова, сама будто сошедшая из рамки Рокотова, ведет нас по торжественно ажурной чугунной лестнице, отлитой в Саратове на зависть столицам. В запаснике, ныбчась на зеленом автопортрете, тушуясь среди именитых коллег, ждет нас герой письма Сапожниковой — Николай Михайлович Гуцин. Живопись его фосфоресцирует подобно подводным водорослям, тяготеет к Врубелью, автопортрет напоминает молодого водяного. Судьба художника бурная, как телесерия. Родился в вятской деревне. В 1918 году пермская газета писала: «Спешно воздвигается памятник борцам за свободу по проекту, составленному местным художником Гуциным». И потом: «Проходя мимо этого памятника, все манифестировавшие смолкали, склоняя свои знамена». Пришел Колчак. Взорвал монумент. Разыскиваемый автор бежал через белую Сибирь и Китай, странствия привели его во Францию. Там лохматый художник становится баловнем салонов. Выходят буклеты, он выставляется с Браком и Матиссом. В 1947 году возвращается домой. Пребывает в нищете. Его третируют. Но молодежь внимает ему. Саратовцы помнят этого дымящегося головой гиганта, расписавшего чайками свою лачугу-развалюху на берегу и окрестившего ее «Вилла Марфутка». Его волновала «Индия духа». Портрет гениального Ганди кисти Гуцина наш посол в 1962 году подарил Дж. Неру...

Думаю, какая она, эта Сапожникова, эта «искра божья», сквозь житейские заботы написавшая из Омска в Москву о никогда не знакомом с нею художнике из Саратова? Кто они, эти защитники среды, активные Пимены писем?

«Родился в 1932 году на Витебщине в семье безграмотного крестьянина. 26 лет в армии. В Бобруйске есть прекрасный художник...» «Был в Петрозаводске художник Евг. Судаков... Теперь погибает в неизвестности другой — музыкант, художник и скульптор. Студенты ПГУ». «Я искал подкрепления к мысли А. Вознесенского. Кажется, нашел. В. И. Ленин писал: «Дельный экономист вместо пустяковых тезисов засядет за изучение фактов, цифр, данных, проанализирует наш собственный практический опыт и скажет: ошибка там-то, исправлять ее надо так-то». И. Руханов, старший бухгалтер-ревизор, Алма-Ата.

154 подписи учащихся СПТУ г. Черкаassy: просят меня спроектировать Памятник Дружбы к фестивалю молодежи. «Предлагаем объявить Всесоюзный комсомольский субботник. Заработаем столько денег, сколько потребуете, хотя бы пришлось шар отлить из чистого золота. А может быть, монумент Великому Русскому искусству?»

Читатели называют неупомянутых прорабов духа. Подбор имен поражает: Мамонтов, Рерих, Грин, Высоцкий, Макаревич... В поездах дальних рейсов сейчас ярские барыги продают по 3 рубля фотомонтажи, где рядом с гороскопом изображены в овалах усатый вождь с трубкой, Высоцкий с гитарой и богоматерь с младенцем в нимбе. Барыги учитывают массовый спрос. Есть о чем помыслить социологам.

А вот пишут юные особи, эти загадочные гномики в вязаных шапочках. Мода прежнего поколения выделяла нижнюю часть тела, обтягивая ягодицы джинсами, новые относятся с большим вниманием к голове. Что за вкусы «ироничного поколения», чьим варварством пужают нас журналисты?

«Мне 17 лет, увлекся Хлебниковым. Собирал материал о нем. Эх! Жил бы он сейчас». А. Жданов, Новосибирск. «Наш учитель Юрий Михайлович более 25 лет «заражает» нас своей любовью к поэзии. Творчество — это школа Нравственности». Клуб Есенина, школа № 3, Черновцы. «Мне 15. Люблю Булгакова и Шагала... Стравинский! Его музыка заставляет меня волноваться, плакать». Дима Бодильский, Челябинск. «Мне стало стыдно жить с таким отцом на его нечестные доходы. Он обыватель. Неужели книги и жизнь — разные вещи? Я каждый день слышу, как он все врет по телефону. Я ушел из дому. Верю в музыку и поэзию, они бескорыстны». Л. К., 16 лет, Тюмень. «Я ученик 6-го класса. Сочиняю музыку к стихам и играю на гитаре и пианино. Стихи пишу редко, надо сказать, мне больше удаются похабные, чем хорошие. Одно стихотворение случайно прочла мама и уговорила послать письмо». А. З., Новгород.

«Пишет Вам незнакомый 16-летний «оболтус». Не буду размазывать,

как я отношусь к Вам, Пастернаку, Ахматовой, Маяковскому...» Руслан Ч., Москва.

В конверт вложены стихи с неровными искренними строками. Видно, что он активно любит и как презирает обывательство: «Сними глушитель с души своей... Не отменять старое — модернизировать... Мы будем быт их терроризировать... Но только с любовью поосторожнее...» Я пригласил его. Он приехал в морозное Переделкино, рослый, в активно алой куртке. Оказался родом из Саратова. Крепко, по-мужски дружит с отцом. Как и многие, увлекается группой «Аквариум», брейком. Сейчас в армии. Но вернемся в запасник.

Вдруг комнату как бы наполнило замедленным гулом, звоном, что всегда предваряет открытие. Стали вносить квадратные холсты медной гаммы. От них исходил звон. Рыбачки, степенные молочницы застыли на них в драгоценном оцепенении.

Юстицкий!

Может быть, вы, читатель, как и я, некогда краем уха слышали отзвук этого имени. Оно мелькало в манифестах начала века. В. М. Юстицкий оформлял шиллеровских «Разбойников» во II студии МХАТ. Его, выпускника Пажеского корпуса, Луначарский в 1918 году с фронта посылает в Саратов создавать революционное искусство.

Листаем кофейные страницы журнала со странным названием «Сарабис» — словно выкрик Саре Бернар с галерки, — органа губернского культуротдела Союза работников искусств. Рядом со страшной передовицей «Голод и работники искусства» и потрясенным некрологом, посвященным смерти Блока, написанным М. Зенкевичем, а также его же кислотным разбором «Мистерии-буфф» помещена статья «Динамическая архитектура»: «Под памятник жертв Революции для Саратова принят представленный художником В. М. Юстицким проспект движущегося памятника... В настоящее время т. Юстицкий работает над проектом движущегося моста через Волгу».

Какой неистовый огонь горел в художнике, если среди голода Поволжья, в холодных мастерских его озаряла романтическая идея под стать нынешним архитектурным поискам! Даже на Севере, среди страшных лагерных мук, посещали прозрения: «Это была несмолкаемая музыка. Я проникал в какие-то лучеобразные пространства... Значит, где-то в извилинах мозга имеется зародыш соединения этих двух искусств в новый организм».

«Мне 24 года. Поступить бы в бригаду какого-нибудь прораба духа! Да есть ли они? Работал грузчиком, осветителем, шофером у геологов. Писал — да разве напечатают! Хорошо, что в Архитектурный не попал, а то бы получил туберкулез на типовых проектах...» Н. Родионов, Алма-Ата.

Исчезают и возникают новые экологические виды. Недавно в редакции журнала «Юность» было обсуждение необычных проектов молодых архитекторов. Они получали премии на мировых и всесоюзных конкурсах, украсили бы любую столицу. Я спросил у самого талантливого: «Ка-

кое у этих проектов будущее?» Он спокойно ответил: «Никакое». — «А пробуете ли вы «пробить» их?» — «Конечно, нет».

Родился новый жанр «бумажной архитектуры», в которой зодчество смыкается с литературой. Один из обсуждавших, опытный зодчий, сказал: «Будем честны. Профессия архитектора умерла. Архитектура умерла. В современном строительном процессе архитектор — бедный родственник. Его не слушают. Сейчас нужны типовые промышленные методы». Он был прав. Смета режет. Но неужели зодчие исчезнут, как динозавры? Превратятся в дизайнеров? ...Нужен разговор.

Опешивший от убийственных доводов юных зодчих, я только сказал им: «А почему же в Саратове можно?»

На месте саратовских бараков, где обитал Хлебников, вы входите в ультрасовременный зал клуба «Кристалл», спроектированный рижанами. («Почему не москвичами?» — ревниво думается мне. — Что же наши такой заказ проморгали?) «И невозможное возможно» — этот блоковский девиз приходит на ум, когда я вижу Георгия Архиповича Умнова, руководителя предприятия, которому этот клуб принадлежит.

У него легкий профиль, будто слетевший с флорентийских барельефов, загар, язвительная улыбка, характер нетерпеливый, сухопарая фигура теннисиста. При мне он остановил сотрудника. «Тяжелеете. Бегать, бегать надо больше, теннисом заниматься». Род его генетическими корнями тянется в Полтаву, говорят, что в нем течет кровь Гоголя. Думается, что Гоголь, мысля о будущем России, загадывал именно такой хозяйский характер, ища героя для II тома «Мертвых душ».

Познакомил нас с Умновым золоторесничный Ваншенкин в давний, полный травли для меня год. Тогда я написал «Травят зайца». Умнов, сочтя это произведение выпадом против охотников и рыболовов, оцетинился, особенно возмущаясь строфой «Если в ужасе по снегам скачет крови живой стакан». Нынче, отлаживая спиннинг, он улыбается, вспоминая этот инцидент.

Он показывал мне гигантский комплекс «детского сада XXI века» — с музыкальными залами, бассейном, зимним садом, миниатюрными скорлупками унитазииков и специально спроектированными столиками для рисования. Его предприятие построило себе агрогородок со свинофермой. Будет и завод по производству бекона. Может быть, поэтому на производстве нет текучки рабочей силы. Рабочие не бегут.

Ищите своих Умновых, ребята!

Прорабы духа находят друг друга. Умнов порой охотится с С. Федоровым, глазным хирургом. Федоров хочет устранить слепоту в масштабе страны. Какой шквал сопротивления он преодолел! Увешанные утками, они обсуждают экономику, кроют косность. Умнов беспощаден к литературе...

«Почему прилавки завалены книгами, а настоящих книг не достать? Почему снижается уровень литературы? Почему нет свободной подписки на книги?» Калмыков, Ленинград.

Справедливо. Я зашел в Новоарбатский книжный магазин. Море нераспроданных книг напоминало затоваривание унылой обувью. Причин много: и часто приятельские отношения при составлении планов... Родился жанр усредненной литературы. Странный термин бытует в редакциях: «Мы с автором работаем над романом». Разве кто-нибудь «работал» с Тургеневым и Лажечниковым? По совету многих людей с разными вкусами идет обкатка рукописей, режут, меняют сюжетные линии, торжествует общий вкус.

«Благодарю за «Прорабов духа». Я сделала программу Северянина «Поэт, Родина и время...» С. Блюхер, актриса драмтеатра, Таллин.

Я не думал, что простая попытка восстановить истинный облик Северянина вызовет такой горячий отклик. Инженер А. Репников привез интересные материалы о Фелиссе Круут, жене и музе долгих лет поэта. Географ Лебедев (Москва) предлагает мне составить том поэта.

Известнейшая латышская скульпторша безвозмездно высекает надгробие Северянина. Столетие его витает в воздухе.

Северянин — форель культуры. Эта ироничная, капризно-музыкальная рыба, пятнистая, будто закапанная нотами, привыкла к среде хрустальной и стремительной. Как музыкально поэт писал в России: «На реке форелевой... уток не расстреливай...»

В. Б.

Коренди прислала мне фотографии и свои мемуары о последней любви Северянина, искренние, наивно-порывистые, очень женские. Полистаем несколько страничек из них.

«...Помню ясно — было мне лет пятнадцать... Я очень любила стихи, жила ими. С большим увлечением писала их сама.

Стихи Северянина пленили мою душу. Зачитываясь его поэзией, я как-то сказала маме: «А знаешь, я буду с Северяниным». Все, что окружало его, до сих пор кажется мне ложной и неподходящей рамкой для этого человека. Мама задумчиво покачала головой, но ничего не ответила. Да и что могла она ответить фантазерке-девочке? Возможно, что моя фраза показалась ей просто бредом? Судьба же подслушала и милостиво пошла мне навстречу. Хотя только спустя долгие годы я встретила с ним, но мы были вместе до конца его дней...

И вдруг мне пришла в голову сумасшедшая мысль: напишу Северянину! Попробую, что выйдет. Не ответит — значит, не судьба. В это время он снова был в Тойла. Это случилось в веселый месяц май 1931 года. Ответ пришел сразу. «Спасибо за письмо. Оно поразило меня безукоризненной до тонкости орфографией и прекрасным стилем. Пришлите, если сможете, свое фото». Я выполнила его просьбу и получила краткое письмо: «Спасибо. Вы именно такая, какой мне хотелось бы Вас видеть. Спасибо. Нам необходимо встретиться. Напишу — где и когда». И встреча состоялась...

Я, выросшая в строгой патриархальной семье, далекая от подозрений и вспышек необоснованной ревности, очень мучилась ею. Он же был истерзан жизнью, обманут женщинами, в которых абсолютно боль-

ше не верил. Это неверие первые годы затронуло и меня... Пришлось приложить нечеловеческие старания, чтобы заставить его поверить и узнать меня. Но я не жалею о прожитых с ним годах: с людьми высокого полета надо уметь жить. Надо быть жертвенной!

Я порвала с минувшим, похоронила семь лет, прожитых с мужем, — и вошла в жизнь поэта и дочери без сожаления и раскаяния. Рождению дочери он светло радовался. Называл ее «златокудрая дочка». Часто приезжал навещать ее... Конечно — тайно. Судьба дала нам тяжелое испытание до 1934 года. Наконец оно кончилось. Тогда и получена телеграмма: «Я дальше не вправе мучить тебя и себя. Я уйду к тебе»...

Мы сняли домик в Пюхайэги, против магазина Черницкого: две комнаты, кухня и балкон. Голос у него был богатый (баритон). Мне кажется, что если бы он не был поэтом, то был бы оперным певцом. Часто пел «По вешнему по складу» А. Толстого, разыгрывались даже сценки из опер...

Здесь же, на Устье, родилось его последнее стихотворение: «Последняя любовь». История его появления такова: ему захотелось выпить бокал шампанского. Я поехала на пароходе в Нарву. Когда я вернулась, я была просто поражена его необыкновенно вдохновенным выражением лица, его сияющими счастьем глазами. Он позвал меня к себе, усадил в кресло и сказал: «Верушка, я тебе такой подарок приготовил! Будешь вознесена вот так!» Он поднял обе руки вверх, опустился на колени и... заплакал. Потом прочел мне это чудесное стихотворение, это «чудо», рожденное его светлой душой, его любящим сердцем.

Это была его «лебединая» песнь мне, дочери, сказочным годам, прожитым нами вместе...

Вот самое последнее его творение:

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Ты влилась в мою жизнь, точно струйка Токая
В оскорбляемый водкой хрусталь.
И вздохнул я словами: «Так вот ты какая:
Вся такая, как надо!» В уста ль
Поцелую тебя, иль в глаза поцелую,
Точно воздухом южным дышу.
И затем, что тебя повстречал я такую,
Как ты есть, я стихов не пишу.
Пишут лишь ожидая, страдая, мечтая,
Ошибаясь, моля и грозя.
Но писать после слов вроде: «Вот ты какая:
Вся такая, как надо» — нельзя.

Нарва — Йыэсуу, 18 апреля 1940 г.

И спустя много, много лет могу я чувствовать руки твои, мягкость курчавых, душистых волос, не заменимую никем любовь твою...»

Горло перехватывает. Я привел несколько странич из мемуаров Веры Коренди, чтобы подтолкнуть к изданию мемуаров целиком, — в журнале или книгой.

«Чем объяснить Вашу дань прозе?» Истомина, Владивосток.

Для меня это та же поэзия, но в прозаежде.

«Зачем ты рвешь свою неуспокоенную душу по дьявольскому ящику?! Гореть тебе в аду за это!..» М. Н. Л. Киев.

Пришло и несколько ругательных писем — к сожалению, процитировать их невозможно по сплошной непечатности текста.

«И как повезло армянам, что нашелся подлинный прораб духа — Генрих Игитян, организовавший центр эстетического воспитания молодежи!.. Когда мы увидим «неведомые шедевры» Филонова, Малевича, когда откроются перед нами запасники, которые ломаются ими?» В. Война, журналист.

Духовным хлорофиллам культуры, выделяющим кислород, противостоят тушители духа, углекислые гасители. Обычно это не монстры, а просто новый биовид углекислых существ — унылые инертные люди. Их тешат людские невзгоды. Они фабрикуют слухи, вдруг опоясывающие город, — скажем, о смерти режиссера, о разводе певицы и т. д. Создается впечатление, что работает некая тайная, анонимная индустрия клеветы. На телевидение однажды пришло письмо, в нем изничтожилось выступление одного писателя. Письмо было подписано рабочим крупнейшего московского завода. Сотрудник редакции, обеспокоенный сигналом, поспешил по адресу. Рабочий был удивлен и растерян, оказывается, руководителем литобъединения при заводе, где занимался этот рабочий, был критик, унылый недруг писателя. Он и сфабриковал доклад, подписавшись за рабочего.

Но это уже из области нравственной экологии.

«Мне особенно приятно, что Вы выразили свою мечту — создание Храма литературы. Это и моя старая мечта. А если использовать для этой цели уже имеющееся вполне достойное здание ГУМа?» Сахновский, инженер, Коломна.

Но мы с вами еще недосмотрели Саратовской галереи. Из запасника мы выходим солнечным коридором, наполненным разряженными золотыми и голубыми степными миражами великого Кузнецова. Павлу Варфоломеевичу Кузнецову, как и его другу, скульптору А. Т. Матвееву, меня представил в юности Владимир Георгиевич Бехтеев, у которого я брал уроки акварели.

Небольшой, полблескивающий гномообразным черепом, по-фехтовальному спорый, дрожа страстными ноздрями крючковатого носа, художник бормотал, следя из-за моей спины, как на ватмане расплывается «по-сырому» мастерски составленный им натюрморт из ананаса, апельсина и синего с золотом фарфора: «Гармонии не забывайте! Если в левом углу у вас синий, то он должен быть компонентом во всем. Синий

вкрапливайте. Не забывайте гамму». Так же гармонично распределяется по стихотворению звукопись Цветаевой.

Шерстяной вязаный платок, в который художник кутался среди плохо отапливаемой комнаты, казался на его плечах романтическим плащом. Он всовывал ногу в соскальзывающую сандалию, как в стремя.

Когда-то кавалергардский офицер, он похитил жену своего полкового командира, умчал ее за границу и вышел в отставку. В Европе стал художником. Вернулся в Москву уже после революции — в нищету и тяготы быта. Я знал его жену и музу, готически-высокую, в иссиня-гладкой причёске, которая была всегда рядом в их единственной комнате, храня роковую тайну и жаря подгорающие котлеты на керосинке, как на жертвенном треножнике. Как мистическое зеркало на стене, висел в полный рост ее гуашевый портрет под вуалью в сине-лиловой гамме.

На стенах брезжили бетхеевские акварели, ташкентская серия, где краски растворялись в зыбком воздухе, теряя очертания. «Там воздух наполнен мелкой, едва заметной песчаной пылью, от этого струится некая пелена», — моргая, оправдывался он, отменяя подозрения в импрессионизме.

Его крепко били за импрессионизм, что было страшным ярлыком тогда. Помню разухабистую статью о его иллюстрациях к «Кукле». После этого ему перестали давать заказы в издательствах. Он боялся, что посадят. Не верю своим глазам! Его грациозно нарисованные лошади с характерным нажимом пера сейчас скачут передо мной по листам саратовского запасника.

Рядом брезжут грезы Борисова-Мусатова. Увы, Мусатов не был лишь грезером. Как он бросался в бой за молодых!

«Понимаете ли, расписали три художника — Уткин, Кузнецов и Водкин — здесь церковь... Эта живопись пришлась не по вкусу, и решили с помощью маляров ее закрасить... Здесь полный произвол...» Мусатов выступает в борьбу с саратовским владыкой Гермогеном, сподвижником Илиодора и Распутина. Он понимал, что уничтожение Водкина далее грозит Врубелю, он знал процессы духовной экологии.

Есть экологическое равновесие культуры. Толстой взаимосвязан с Тургеневым. Рембо — ребро, из которого родилась новая европейская поэзия. Американский роман XX века связан с русской прозой XIX века. Тайфун футуризма гулял через границы.

Не создать ли общество экологии Культуры, пригласив возглавить его, скажем, академика Д. С. Лихачева? Это был бы общественный контроль Культуры. В общество вошли бы не только столичные светила, но и прорабы духа Саратова и Пензы и обязательно молодые энтузиасты. Процессы культуры века надо изучать, пока век еще жив, чтобы наши потомки не ломали голову над белыми пятнами духовной истории.¹

¹ Статья эта была напечатана в 1985 г. Думаю, тогда уже в надеждах вырисовывалось то, что материализовалось ныне в Фонд культуры.

Слой атмосферы, хранящей нас, хрупок, тонок, как след от пальцев на стакане. Но еще более беззащитен слой человеческой культуры. Ее надо беречь, ибо она бережет жизнь человечеству.

ГЕОМЕТРИДКА ИЛИ НИМФА НАБОКОВА

В детстве я часто шарил по дедушкиной библиотеке. Золоченые тома «Истории человечества» Гумбольдта или Брэма привлекали меня тончайшей папиросной бумажкой, проложенной над цветными иллюстрациями. Она требовалась для каких-то детских надобностей — кажется, на расческе дудеть.

Однажды я снял с полки затиснутый толстенный том «Англо-русского словаря» в красной обложке. Из него посыпался засушенный кем-то меж страниц домашний осенний гербарий. Резные осиновые кружочки лесов прошлого столетия, золотые березовые сердечки, будто абрисы православных куполов, кленовые алые гусиные лапы — планировали на пол из словаря.

А листовая словарь, меж страниц на букву «кью» я обнаружил заложенные засушенные там крылышки бархатного персидского махаона. Какой начинающий бабочник Набоков засушил их там? Или сама бабочка, заснув, была некогда захлопнута в книге рассеянной дачной курсисткой.

Золотая, бирюзовая и черная пыльца впрессовалась в две словарные страницы. Шеренги слов, возглавляемых королевской «кью», оделись в золотые блески, будто собирались играть на сцене «Генриха IV» или «Венецианского мавра». Их окружали силуэты отпечатавшихся крыльев. На самих же крылышках, сквозь которые уже просвечивали осыпавшиеся остовы, на золотых пятнах и бахроме впечатались со страниц буквы латинского алфавита и кириллица, увенчанная ятями.

Набоков — двуязыкая бабочка мировой культуры.

Давайте, читатель, разглядим осыпавшиеся крылышки его четверостиший. Вот васильковая расцветка «Первой любви»:

Твой образ легкий и блистающий
как на ладони я держу
и бабочкой не улетающей
благоговейно дорожу.

Все слова поэта цветные, зрительные. В письмах к сестре Елене он описывает своего сынишку: «Настоящей страсти к бабочкам у него нет. У него окрашены буквы, как у меня и как это было у мамы, но у каждой буквы свой цвет — скажем, «м» у меня розовое, фланелевое, а у него голубое».

Главное наслаждение произведений Набокова — осязать заповедный русский язык, незагазованный, не разоренный вульгаризмами, отгоро-

женный от стихии улицы, кристальный, усадебный, о коем мы позабыли, от коего, как от вершинного воздуха, кружится голова, хочется сбросить обувь и надеть мягкие тапочки, чтобы не смять, не смутить его эпитеты и глаголы. Фраза его прозы — застекленная, как драгоценная пасть, чтобы с нее не осыпалась пыльца.

С детства вторым языком автора был английский. «Лолиту» и «Другие берега» он писал по-английски, создавая самостоятельный русский вариант произведений. В обоих случаях язык его упоителен. Это почти единственный после Конрада случай в мировой литературе.

Владимир Владимирович Набоков принадлежит к древнему дворянскому роду. Вместе с семьей, юношей, оказался за границей. Окончил Кембридж. На Новой Земле есть «река Набокова», названная в честь его прапрадеда, ходившего туда на корабле в 1816 году, его бабушке посвящал стихи Тютчев, отец его, человек долга и чести, член 1-й Государственной думы, погиб от пули, заслонив собой своего кумира, считая, что закрывает собой Россию.

Сам же автор, крупнейший мировой писатель, гордился более всего тем, что открыл вид бабочки, «неизвестную самочку, которая зовется Nabokov's Nymph (Нимфа Набокова.— А. В.) в научной литературе». «Какое наслаждение наконец найти мою редчайшую крестницу на почти отвесном склоне, поросшем лиловой лупиной, в поднебесной, пахнущей снегом тишине (на высоте 3000 м)!» — захлебывается он своей корреспондентке. «И есть, кроме того, четыре nabokovi, названные другими, из них особенно мне дорога Eurythia nabokovi, крохотная геометрика...»

Но почему в нынешних набоковских ралли наших периодических изданий «Октябрь» предлагает читателю именно стихи Набокова, а не его знаменитую прозу, в то время как другие собираются печатать «Защиту Лужина», один из лучших романов его, или «Машеньку», его первенца, или эссе о Гоголе?

Стихи — это то, что нельзя написать на чужом языке. Это — неподконтрольное, это — высшее, где уже не материя, а дух языка кричит, не прикрытый коронным «приемом» автора, что иноязычно не выразить, — ни Пушкин, ни Цветаева, ни Рильке не сумели этого, — в стихах прорывается непередаваемое, голое чувство, тоска, судьба, а не литература, вопит слово «выть» — такое редкое для хрустального интеллектуализма художника.

По прозе пером его водила с «постоянством геометра» муза геометрика, но в поэзии флейты его касалась губами простоволосая нимфа чувства, нимфетка, как потом он ее назовет.

Есть проза современных ему поэтов Пастернака, Мандельштама, Цветаевой, где сохраняется метод поэзии, захлебываются ритм, аллитерация, напор, здесь же, наоборот, мы видим поэзию прозаика, близкую Бунину, — вдруг четкая деталь сквозь слезы:

...угол дома, памятный дубок,
граблями расчесанный песок.

Не так-то беспечны его бабочки. Бабочка-память неотвязно напоминает ему желтой каймой своей зыбкую рожь, эта березовая греза-бабочка Россия всюду ностальгически настагает его. Есть у него и стихи на английском, но, конечно, неудачные. Каждый, кто пробует писать стихи на неродном языке, расплачивается банальностью за кощунство. Для меня, например, это — святотатство, я никогда не писал стихов по-английски, если не считать пары шуточных.

Порой на его крылышках среди своей пылицы отпечатаны тексты других поэтов.

Вот интонация Гумилева:

Мы, быть может, преступнее, краше,
голодней всех племен мирских.
От языческой нежности нашей
умирают девушки их.

Вот Пастернак:

Воображаю щебетанье
в шестидесяти девяти
верстах от города, от зданья,
где запинаясь взаперти...

Вот его возлюбленный Ходасевич, которому он посвятил восторженные статьи:

Ах, если б звучно их раскинуть,
исконный камень превозмочь,
громаду черную содвинуть,
прорвать глухонемую ночь.

Порой то Бальмонт, то Майков, то Мандельштам, то даже Маяковский отпечатается. Иногда он нарочито как бы пародирует. Есть такой вид бабочки, которая садится на лист, принимая как бы окраску листа, или коры, или цветка. Прикидываясь листом, она остается легкой бабочкой и, обманув окраской, срывается в небо, в главном оставаясь собой — в полете. Необычен этот поэт Набоков: если все поэты идут от сложности к простоте, то он и тут перечит. В ранних книгах 1922 года «Горный путь» и «Грозди» он начинает как романсовик, идя путем Апухтина, а то и Ротгауза, подписываясь псевдонимами: В. Сирин или Василий Шишков.

Простим мы страданье, найдем ли звезду мы?
Анютины глазки, молитесь за нас...

Суровый критик за издержки вкуса называл его Бенедиктовым. В книге 1952 года он приходит к традициям Пастернака. Но и сейчас к книге Пастернака, он остается своей бабочкой. В лекциях своих он наивно-раздраженно ниспровергает Толстого и Достоевского, называ-

ет Сартра модным вздором, Миллера — бездарной похабщиной. Движимый не самыми почтенными чувствами, ревнуя к Нобелевской премии, в специальных стихотворениях на закате дней он обзывает Бенедиктовым... Пастернака — более сильного, чем он, поэта, не в силах освободиться до конца жизни от влияния его интонации. Ах, бедная тень Бенедиктова! Кто только не тревожил тебя... Но простим эти слабости за боль его, даже за один этот его глубокий вздох:

Моя душа, как женщина, скрывает
и возраст свой, и опыт от меня.

В жизни же он прикрывается одной страстью — исследователя бабочек, «лапидоптериста», — вы, наверно, и не слыховали этого термина, читатель? Так Лермонтов кутался в свой расшитый ментик, а Пушкин выдавал себя за практичного издателя. Он прячет взор пророка за голубые, черные, алые стеклышки капустниц, аполлонов, махаонов, голубянок. Сообщая, что перевел «Слово о полку Игореве» и «пятитомник Онегина» — кстати, родившись ровно в год столетнего юбилея Пушкина, — он делится с сестрой якобы главным: «Я вот уже третий год печатаю частями работу о классификации американских «голубянок», основанной на строении гениталий (видные только под микроскопом крохотные скульптурные крючки, зубчики, шины и т. д.). Работа эта упительна, я себе испортил глаза, ношу роговые очки. Знать, что орган, который ты рассматриваешь, никто до тебя не видел, погружаться в хрустальный мир микроскопа — это так завлекательно, что и сказать не могу». Гиппиус назвала его талантливым поэтом, которому нечего сказать, не заметив, что подробности жизни и слова стали содержанием его. И сквозь этот яркий, отчетливый сир проступает:

Я помню, над Невой моей
бывали сумерки, как шорох
тушающих карандашей.

Да и американскими голубянками, а не европейскими «Alpes Maritimes» он занимался лишь потому, что вынужден был бежать из Берлина в Париж, а далее — в другое полушарие, спасая жену, которой из-за еврейского происхождения грозили ужасы фашистского геноцида. Бедная бабочка, как ты летела, выбиваясь из сил, через мировые хребты, то ску и океаны!..

Вернемся к письмам его, которые он в стихах сравнивает с лимонницами. Он по-семейному открыто пишет брату Кириллу, поэту «Пражского скита»: «Вопрос обстоит так: пишешь ли ты стихи просто так... или действительно безудержно к ним тянет, они прут из души... Прежде всего нужно учиться ценить, какое это трудное, ответственное дело, дело, которому нужно учиться со страстью, с некоторым благоговением и целомудренностью, пренебрегая мнимой легкостью. Бойся шаблона. Рифма должна вызывать у читателя удивление и удовлетворе-

ние — удивление от ее неожиданности и удовлетворение от ее точности и музыкальности!..»

Это надо усвоить тысячам наших пишущих, и любителей, и профессионалов-графоманов, — благоговение и целомудренность, удивление и удовлетворение. Собственно, печатание ныне рукописей, что было невозможно напечатать в предыдущие годы, имеет, кроме цели исторической справедливости, цель «поднять планку», культуру, — главное, чтобы были рождены новые вещи новыми именами по «гамбургскому счету».

В стихах его зреют зерна будущей прозы. В 1928 году в страстном стихотворении «Лилит» уже просвечивал образ его будущей героини Лолиты, хоть автор, склонный к мистификациям, нарочито отрицает это в комментариях.

«Писал ли я тебе, что открыл и описал несколько новых видов и что существует несколько названных в мою честь «пабовоки?» — пишет он в письме к сестре. И далее: «Ника уже развелся со второй женой-американкой». Я знал этого «Нику», композитора Н. Набокова, его третья жена редактировала мое первое «Избранное» в американском издательстве. Встретиться с В. Набоковым было бы просто, но мешала некая целомудренность отношения. Я боялся нарушить хрустальный образ, боялся, что пыльца останется на пальцах. Мастер был труден в общении. Недавно, будучи в Москве, Грэхем Грин, чья автора как писателя, сдержанно отозвался о нем как о личности.

Всю жизнь он прожил в гостиницах, отказываясь покупать и обживать свой дом вне дома.

Ах, где они теперь, две бабочки Набокова?

За год до смерти, глянув на бесстрастный сачок небосклона, он написал замершее стихотворение из двух строф, как двукрылую лимонницу. Перефразируя гумилевское «И умру я не на постели при нотариусе и враче», старый поэт улыбнулся автоэпитафией:

...И умру я не в летней беседке
от обжорства и от жары,
а с небесной бабочкой в сетке
на вершине дикой горы.

Эти две строфы, кажется, вот-вот вздрогнут, подымутся, сомкнутся вместе, и упорхнут — к каким другим берегам, к каким горизонтам?

Сейчас летят эти «грезы берез» по милым его сердцу среднерусским лесам и весям. Пусть летят геометридка и нимфа Набокова на свет вечерних ламп наших читателей.

СОДЕРЖАНИЕ

Перед стыковкой веков	3
Первый год комиссии	6
Галá Шагала	11
Башня-всадница	19
Белые ночи Бориса Гребенщикова	22
Небесный муравей	24
Экология культуры	32
Геометридка или Нимфа Набокова	42

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

10, 9, 8, 7...

Редактор Ф. Н. Медведев

Технический редактор Т. Е. Авдеева

Сдано в набор 31.08.87. Подписано к печати 12.11.87. А 00462. Формат 70 × 108¹/₂. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,07. Усл. кр.-отт. 2,28. Тираж 80000 экз. Изд. № 2968. Зак. № 1201. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

● **ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВЫЕ ВЫИГРЫШНЫЕ ВКЛАДЫ**

По этому виду вкладов доход из расчета 2% годовых выплачивается в виде выигрышей — наличными деньгами или, по желанию вкладчиков, путем выдачи чеков для приобретения товаров, пользующихся спросом населения.

Тиражи выигрышей проводятся два раза в год — в апреле и октябре. В каждом тираже на 1000 номеров счетов по этому виду вкладов разыгрывается 25 выигрышей: 1 выигрыш в размере 200% среднего остатка вклада за истекшее полугодие, 2 выигрыша — по 100%, 2 выигрыша — по 50% и 20 выигрышей — по 25%. При определении суммы выигрыша в расчет принимается средний остаток вклада в размере до 5000 рублей. Началом полугодия для исчисления среднего остатка вклада считается 1 апреля и 1 октября. Вкладчику предоставлено право открыть в одной или нескольких сберегательных кассах любое количество счетов по денежно-вещевым выигрышным вкладам.

С перечнем товаров, приобретаемых за счет выигрышей, можно ознакомиться в сберегательных кассах.

Для получения в магазинах таких товаров сберегательные кассы выдают вкладчикам целевые расчетные чеки. По желанию вкладчика чек на приобретение товара может быть выписан в сумме, на 25% превышающей выпавший на его счет выигрыш, с доплатой разницы сберегательной кассе.

Сумма выигрыша может быть также получена наличными деньгами или оставлена для дальнейшего хранения на счете по вкладу.

Сберегательные кассы к Вашим услугам!

ПРАВЛЕНИЕ ГОСТРУДСБЕРКАСС СССР